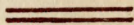


Виктор Авдеев



Турты
на
дорогах



ВИКТОР АВДЕЕВ

Г у р т ы
на
д о р о г а х

ПОВЕСТЬ

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1949

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Обложка худ. А. Щербакова

**Редактор К. Платонова. Художеств. ред. А. Ермаков
Технический редактор Г. Архангельская. Корректор А. Соловьева**

**Сдано в набор 20/X-48 г. Подписано к печати 23/XI-48 г. А07790.
Печ. л. 4^{1/2}. Уч.-авт. л. 3,72. Формат бум. 84×108^{1/2}.
Тираж 150.000 экз. Заказ № 833.**

**Первая Сбгазцовая типография имени А. А. Жданова
цеха «Полиграфкинига» ОГИЗа при Совете Министров СССР.
Москва, Валуевая 28.**

ГУРТЫ НА ДОРОГАХ

*Лидии Александровне
Соколовой*

I

Ночью старшего зоотехника разбудили: директор срочно вызывал в контору. Последнюю неделю Осип Егорыч спал не раздеваясь. Он натянул юфтовые сапоги и сунул в карман пиджака электрический фонарик.

Полная луна заливала весь зерносовхоз. От больших белых домов улица казалась еще светлее, теплый воздух рассекали нетопыри, гоняясь за жуками; черные, словно обугленные, тени тополей отражались в искрящейся воде пруда, на котором ночевала домашняя птица. Осипа Егорыча несколько раз настороженно окликали рабочие патрули, вооруженные берданками, и всю дорогу он невольно прислушивался к низкому, угрожающему гудению самолета: что это — наши «ястребки» или идет на бомбежку немецкая эскадрилья?

В здании конторы было совсем темно, лишь из-под двери директорского кабинета тянулся желтый шнур света. Когда Веревкин вошел, там находился уже весь командный состав «Червоного Херсонца»: секретарь парткома, старший агроном, оба врача, инженер-механик, управляющие отделениями. Взгляд Веревкина лишнюю секунду задержался на молоденькой ветеринарной фельдшернице Гале Озаренко, и он быстро опустил голову.

Собрание уже началось, говорил директор Козуб. Все

знали, что вчера вечером его по телефону вызывали в райком, и теперь он еще весь был покрыт дорожной пылью — видно, прямо с тачанки, даже не заходил домой.

—...секретарь, значит, встречает и сразу: «Подготавливай, Юхим Григорич, скотину; четвертого августа погонишь в тыл, на Ростов-Дон, пакет из треста потом получишь. Начинай паромами переправу через Днепр в Козацкое». — Директор внимательными, ничего не упускающими глазами оглядел собравшихся и закончил в наступившей тишине: — Так что, товарищи, с этого часа объявляю эвакуацию совхоза.

Все много курили. Было слышно, как жужжит разбуженная светом большая степная муха.

— Прямо отсюда, — продолжал Козуб, — вы разъедетесь по отделениям, на подсобное хозяйство, в кошару, дадите задание своим бухгалтерам подготовить списки всего скота и соберете людей, которые его погонят. Мероприятие провести до рассвета. Вы же, Осип Егорыч, как старший зоотехник, останетесь на центральной усадьбе и будете руководить всей колонной.

Под высоким расписным потолком ярко блестела бронзовая люстра с тремя лампами в форме лилий. Оба квадратных окна кабинета были плотно замаскированы светонепроницаемой бумагой. Было душно, и, вероятно, от этого, а может, и от общего состояния тревоги сердце у Веревкина колотилось неровно, тяжело. К тому же он совсем не переносил табачного дыма.

Веревкин остановился у двери, отсюда ему хорошо был виден директор, — Юхим Козуб был настолько высок, что, когда появлялся на улице, казалось, будто он выше домов. Большая голова Козуба напоминала корень дерева, а свои толстые руки он, как все очень сильные люди, слегка отставлял в стороны.

— Мы тут, — продолжал он своим носовым, но звучным голосом, — еще заранее наметили план эвакуации, заготовили удостоверения, путевые листы. Колонну тракторов и комбайнов наш инженер-механик поведет на Белую Калитву, к железной дороге. Я с секретарем парткома остаюсь в Рудавицах до особого распоряжения: будем хозяйничать. Гурты же поведет Осип Егорыч как мой заместитель по животноводству. Рогатого поголовья у нас на подсобном, вместе с молодняком, две тысячи пятьсот штук. Вместе же погоним племенных жеребцов, стригун-

ков, каких у нас не забрали в армию, овечьи отары. Обслуживающего персонала — чабанов, доярок, табунщиков, ночных сторожей — наберется человек сто восемьдесят. Завтра им, как и всем совхозникам, за два месяца вперед выдадим зарплату. Имущество их семей повезем на арбах, но упредите: пускай берут только необходимое, сам проверять и выбрасывать буду.

Опасаясь чего-нибудь не расслышать, Веревкин продвинулся и не заметил, как оказался за спиной Гали Озаренко. Он все время вытягивал свою бурую от загара шею. Неожиданно Галя обернулась:

— Очевидно, Осип Егорыч, вы заботитесь, чтобы мне не было холодно?

— Почему это вы... — смешался Веревкин.

— В таком случае очень прошу вас: не дышите мне в затылок.

Он неприметно улыбнулся в черные короткие усы:

— Бойтесь растаять?

Галя круто повернулась. Веревкин видел ее небольшой выпуклый лоб, темные, зачесанные назад волосы с выгоревшей золотистой прядью, молодую грудь. Красивой Галю нельзя было назвать. Роста она была невысокого, со вздернутым носом, большим ртом. Но во взгляде ее смелых глаз, в легких движениях, в ясном и звонком голосе, — во всем ее облике было то, что иногда выше красоты, — обаяние. Пренебрежительно усмехнется она — одна Галя; вдруг беззаботно расхохочется, так что слезы выступят, — и уже другая. Сейчас она так взглянула на Веревкина, что ему стало как-то неловко за себя.

— Я не восковая, — сказала она тихо и надменно, — таять не собираюсь. Так что... вы вообще ни с кем, кроме себя, не считаетесь. Хоть бы рубаху застегнули, ведь на совещание к директору явились. Притом же здесь женщины: я, скажем. Если война, значит все позволено, по-вашему?

Поднеся руку к шее, Веревкин со стыдом убедился, что ворот рубахи у него действительно не застегнут. И, чувствуя, что отвечает совсем не то, он с небрежным смешком буркнул:

— Неважно, я не голубой крови. Вы ж, к слову сказать, и не женщина, а просто... еще комсомолка.

Галя вспыхнула, глаза ее сузились, а лицо стало некрасивым.

— Вам бы в «Крокодиле» сотрудничать: даром остроумие пропадает.

И, вскинув голову, она отошла от него. Веревкину показалось, что даже спина Гали выражает отвращение, и на какой-то момент все вокруг сделалось ему безразличным. Озаренко остановилась возле своего начальника, ветеринарного врача Кулибабы, словно желая показать, что она теперь под надежной защитой. Как раз в это время Кулибаба попросил слова, и Веревкин, который отвернулся было к окну, опять стал смотреть в их сторону.

— Всем известно,— кашлянув в руку, негромко начал Кулибаба, — что чем образцовее мы проведем эвакуацию нашего советского хозяйства, тем лучше в тылу организуем снабжение Красной Армии продуктами питания и поможем ей в борьбе с врагом. Мне придется сопровождать гурты до самого Дона, и, как специалист, отвечающий за поголовье, я обязан сейчас же заявить, что как раз в спасении-то скота я и сомневаюсь. Длинные и быстрые перегоны поведут к сжижению удоя, привеса, ослаблению скота, и тогда он легко может стать жертвой любой эпизоотии... сибирской язвы, шумящего карбункула, ящура, паратифа. Ведь массовое скопление, отсутствие элементарной зоогигиены, как правило, вызывает заражение...

С Кулибабой Веревкин работал в зерносовхозе уже два года, и не было еще случая, чтобы их мнения совпали. Действие одного зачастую вызывало протест другого. И сейчас Осип Егорыч бросил:

— Что же вы предлагаете, Аполлинарий Константинович? Остаться в Рудавицах? Изложите нам свой... рецепт.

Он видел, как Галя Озаренко возмущенно дернула плечом и опять отвернулась. Может, она подумала, что Веревкин нарочно смотрит в ее сторону? Ага, он, кажется, опять «сострил» насчет рецепта?

Кулибаба глянул на него желтыми умными глазами, спокойно ответил:

— Я еще не кончил, Осип Егорыч, притом... извините, я не пойму: что вы хотели сказать своей репликой? — И, обращаясь к собранию, Кулибаба продолжал: — Рецептов я никаких давать не собираюсь, прошу не понимать меня превратно. Я просто хочу поставить в

известность директора и вообще всех вас, что потери нам грозят очень и очень значительные, и надо подумать, нельзя ли их избежать. Предложение же или, скорее, вопрос действительно имею. Скажите, Юхим Григорич, а может, в наш маршрут все же можно внести некоторые коррективы: например, скот тоже направить в Белую Калитву, к железной дороге? Во-первых, там есть гужевой мост через Днепр, что сразу облегчит переправу, а во-вторых, возможно, нам удастся хотя бы племскот, стельных коров отправить товарными и действительно спасти? Ведь мало того, что гуртам грозит падеж, абортирование, — мы вместе с нашими семьями можем попасть под бомбежку, а то и просто быть отрезанными танками.

Осип Егорыч вновь хотел возразить ветеринару, но его перебил Козуб:

— О железной дороге, Аполлинарий Константиныч, и думку надо бросить: по ней эвакуируются семьи красноармейцев, институты, заводы, разные научные работники. А потом, когда правительство намечало маршрут для скота, оно, по-моему, учло, что это за «машины», и в аккурат заготовило для них везде «горючего»: озер понаставило, выпасов. Да шляхом и, ей-богу, спокойней будет: затеряемся в степу, как та ящерица в траве, немец всей своей авиацией не найдет... Итак, товарищи, есть еще у кого какие замечания, вопросы?

...Полчаса спустя совещание закончилось.

Луна близилась к закату, все вокруг померкло, где-то далеко гудели самолеты, на центральной усадьбе перекликались предутренние петухи. Вокруг конторы уже стояли запряженные, волглые от росы линейки; застоявшиеся верховые кони нетерпеливо били копытами. Совхозные командиры прямо с совещания стали поспешно разъезжаться в табун, кошару и по отделениям.

Войдя к себе, Веревкин остановился посреди комнаты. Здесь он прожил шесть лет, был недолго счастлив, а потом овдовел. Может быть, он тут в последний раз? Что же у него есть дорогого, что необходимо взять с собой? Ковер? Велосипед? Кожаное меховое пальто? Э, все это пустяки по сравнению с тем, что теряет народ, вся страна! Теперь главное — сумеют ли они спасти от немцев совхозный скот. Или, быть может, придется погибнуть вместе с ним? Однако надо действовать. Вере-

кин вынул из шкафа чистое белье, костюм, бритву, завернул в одеяло и сунул в мешок. В передней взял охотничье ружье, уже открыл дверь на крыльцо, но снова вернулся и снял с вешалки кожаное меховое пальто: «Может, зазимовать где-нибудь придется». Навесил замок и пошел на скотный двор.

II

Утром из Рудавиц выступили передовые гурты скота и на несколько километров растянулись по дороге. За арбами увязались собаки, скрип медлительных колес смешался с лаем, мычание телят — с плачем женщин. Все дальше отодвигались черепичные крыши поселка, закопченная труба ремонтных мастерских, окруженных вербами.

Далеко в хлебах работали два комбайна, слабо вился дымок; огромные скирды казались заброшенными. А спереди надвигалась пустая, молчаливая степь, вся в солончаках и белом вызревающем ковыле. В августе птицы начинают линять, уже не поют. Бесчисленные перепела, дрофы, жаворонки отсиживаются в густой траве да в укромных кусточках, дожидаясь, когда отрастут новые перья, чтобы пуститься в осенний перелет. Жарко палило солнце, над лысым курганом дрожали «полуденки», горячий ветерок гнал тучи пыли. В колонне придавленных горем людей редко где слышались разговоры.

Галя Озаренко верхом на рыжей, горбоносой, вислозадой кобылке ехала рядом с крытой и доверху загруженной арбой Кулибабы. Ее воз шел следом и тоже был завален вщами Кулибабы. Из передней арбы выглядывала жена ветврача Марина Георгиевна, холеная, еще красивая брюнетка с золотыми серьгами, в дорожном пальто. С нею сидел ее единственный сын, семилетний Горик. Приветливо и покровительственно глядя на Галю карими, чуть подведенными глазами, Марина Георгиевна говорила:

— Второй раз мне приходится эвакуироваться. Еще гимназисткой, в революцию, мы всей семьей бежали в Ялту и вот теперь опять. Сколько я ни помню себя, все бойна, война, война!.. А как хочется мирной, спокойной жизни, ведь мы ее, Галечка, совсем почти не видели, особенно вы. «Человек рожден для счастья, как птица

для полета», — так, кажется, говорят поэты? Нет, надо переезжать куда-нибудь в город: в Железноводск, Махач-Кала, Самарканд. И вам, Галечка, не советую лишний год задерживаться в «Херсонце», а сразу ехать в институт. Аполлинарий Константинович поможет вам устроиться.

— Мне так хочется учиться,— тотчас согласилась Галя.— Вы правы, Марина Георгиевна, с практикой еще успею. Но после техникума я обязана по договору два года отработать в совхозе. А сейчас очень подходящее время для ухода, верно?

— Ничего, у мужа связи в Москве. Вы только будьте к нему повнимательнее.

Марина Георгиевна улыбнулась с видом заговорщицы. Галя весело кивнула головой.

Она вообще охотно соглашалась с Мариной Георгиевной. Между ними существовали отношения, которые часто возникают между замужней женщиной и девушкой. Гале льстило внимание ветеринарши, нравилось, когда та, разговаривая, полубобнимала ее; девушка ласкалась к ней, поверяла ей свои маленькие секреты.

— Вот, Галечка, закончим эвакуацию, и обещаю вам все устроить. Ведь человек без высшего образования обречен на самую... неинтересную работу. Что в наш тяжелый век дает удовлетворение? Хорошая служба, семейный уют... — Марина Георгиевна вдруг замолчала, потом совсем другим тоном воскликнула: — Посмотрите, посмотрите скорей, кто едет!

— Где? А-а, вижу.

Невдалеке, в пылище, поднятой гуртами, верхом протрусил Веревкин. Директор остался в совхозе завершать эвакуацию скота и комбайнов и на переправу должен был приехать только завтра днем. Марина Георгиевна с веселой усмешкой сказала:

— Не правда ль, сир Веревкин очень представитель? Прямо какой-то восточный бей, озирающий свое коровье войско.

— Да, теперь он ответтоварищ, и мы обязаны отдавать ему «селям».

— Как же! Военная дисциплина.

Обе женщины переглянулись и расхохотались.

В «Червоном Херсонце», как и в каждом хозяйстве, люди распались на небольшие группы, борющиеся за

свои производственные принципы. Кулибабы, к которым примыкала и Галя Озаренко, критически относились ко всем действиям Веревкина. К тому же, зоотехник был вдовец, холостяк, и Марина Георгиевна, а за ней и Галя не могли удержаться, чтобы не подшучивать над ним.

III

Под вечер впереди забелела колокольня. На краю села, потонувшего в садах, встали растопыренные крылья четырех ветряков, а за ними широко и привольно разлеглась могучая река. Спуск к Днепру был крутой, зажатый каменистыми обрывами, и вокруг до самого берега теснилось столько скота, автомашин, людей — земле было тяжело. Все это гудело клаксонами, ржало, мычало, звенело разными голосами. Пыль подымалась, как на пожарище. Поперек реки двигалась огромная моторная баржа, рядом с ней бегал паром, оба нагруженные сверх меры.

— Ой, лышенько! — посмотрев вниз, воскликнула доярка Христя Невенченко и схватилась руками за голову.

— Да-а, — протянула ее соседка. — Попали мы, как ути в лапшу.

Длиннорукий, горбылястый чабан Иван Рева, до бровей заросший жесткими волосами, мрачно обронил:

— Это еще начало. Вправду люди говорят: пока до бога доберешься, черти голову оторвут.

— Уже и плакаться? — весело сказала пожилая, с большой родинкой на щеке тетка Параска. — А еще дивчата. Это вам не в клубе под патефон плясать. Война. — И убежденно закончила: — Ничего: народ захочет — пропасть перескочит.

Снизу от будки верхом на гривастом буланом мерине подъехал Веревкин. Он был в защитном картузе, рабочих брюках, забранных в сапоги; всю его плотную, коренастую фигуру, черные щетинистые усики, бурое лицо густо покрывала пыль. Веревкина сопровождал на красавце жеребчике донских кровей молодой табунщик Омелько Лобань. Они ездили к переправе.

— Ну как? — с жадностью обступили их совхозники.

— Обождать придется, — коротко ответил Веревкин. — Заступили в очередь. — Он обернулся к старшему

гуртоправу Илье Гаркуше, распорядился:— Скотину почистить и на выпаса. Доярки пусть, как всегда, сепарируют молоко, сдают на местный пункт государству. Выставьте охрану к переходящему наркоматскому знамени, денежному ящику и продуктам. Люди могут располагаться на ночь.

Пока он разговаривал с гуртоправом, Омельку Лобаня окружили доярки.

— И чего ты, Омеля, дивчат избегаешь?— тараторили они.— Али мы уж такие корявые? Хоть бы заглянул песни поиграть, а то одна тут по тебе совсем иссохла. Приходи, сливками угостим. Чего ж переправщик говорил?

Лобань был неказист: малорослый, горбоносый, кривоногий. Но привлекали внимание блестящие удалью глаза, прямой волевой рот. В седле парубок сидел «как влитой», и конь слушался малейшего движения его мизинца.

— А ничего,— ответил Омелько, польщенный вниманием.— Переправщик и разговаривать не хочет. «Записуйтесь в очередь». Оно, конечно, правильно. К нему все лезут, ругаются, каждый норовит проскочить вперед... Только вот «Маяк» после нас подошел, а ему дозволили переправу. Поняли? Обобьемся мы тут, как некованая худоба на льду.

В толпе находились жена Кулибабы и ветфельдшерца. Галя Озаренко, которая всегда пользовалась любым поводом, чтобы уколоть зоотехника, громко и ни к кому не обращаясь, сказала:

— Конечно, если наши руководители не ударят палец о палец, мы здесь и неделю просидим.

Осип Егорыч, словно не расслышав, продолжал разговаривать со старшим гуртоправом. Галя, уже глядя прямо на него, дерзко прищурилась:

— Может, товарищ Веревкин, вы все-таки поделитесь с нами своими соображениями? Мы, разумеется, не бычки и не коровы, о которых вы обязаны заботиться по долгу службы, но вель теперь вы начальник колонны, и мы тоже, так сказать... принадлежим к вашему стаду.

Доярки вокруг замолчали, Марина Георгиевна чуть улынулась. Веревкин лишь покосился на ветфельдшерцу.

От гуртов с громом подкатила тачанка заведующего снабжением колонны — Олэксы Упеника. Белокурый,

кареглазый, в щеголеватом военном костюме, он ловко осадил пару, соскочил с облучка. При виде его Галя оживилась, и Вережкин заметил это. Олэкса улыбнулся ей красивым ртом, подчеркнуто нежно пожал руку.

— В чем дело, рабочий класс и трудовое крестьянство? — спросил он доярок.

— Вот, Олэксынька, сидим у моря и дожидаем погоды.

— Боимся, что закиснем тут, как то молоко, что не успеваем сепарировать.

— Извиняюсь: а как это понимать?

Ему сообщили, что с переправой дело обстоит неважно.

— Так вы и зажурились? — весело сказал Упеник. — Поручите это дело мне. Я буду полпредом от «Червонного Херсонца», не имеете против, Осип Егорыч? Молчите? Ну, это, так сказать, знак соглашательства. Христя, прими шефство над конями, — и, небрежным жестом передав вожжи, он тут же пошел к берегу, словно для этого приехал.

— Мальчик — что червончик, — восхищенно сказала одна из доярок.

— Да-а,— согласилась Марина Георгиевна.— Парубок умеет добиваться своего. Вот будет муж, а?

Она с улыбкой посмотрела на Галю, полуобняла ее за талию.

IV

Со степи все подтягивались передовые гурты «Червонного Херсонца». Бесперывно гудя клаксонами, подплыли два запыленных автобуса с красными крестами: из-за полуспущенных занавесей виднелись раненые. Перед санитарными машинами все расступились. Подошел незнакомый колхоз с тракторами, молотилкой; подъехали подводы с беженцами. Вновь прибывшие теснились к барже, к парому, рвались на тот берег, ругали переправу и областное начальство: всем казалось, что стоит лишь попасть за Днепр, и они будут спасены.

Перед сумерками с пристани вернулся Олэкса Упеник и объявил:

— Сейчас переправляется худоба колхоза Франко, а следующий черед наш. Можете, Осип Егорыч, подавать

команду и собираться. А с вас, дивчата, могорыч в мою пользу.

Это показалось невероятным. Заведующего снабжением обступили, наперебой стали расспрашивать.

— Чего ж тут особенного? — улыбнулся он.

— Ну, ну, не задавайся, рассказывай.

— Как все дела делаются? — просто продолжал Упеник. — Один обратился, другой согласился. Сперва, понятно, комендант и слушать меня не захотел, но я ему опять вполне вежливо: «Вы что, заболаете, если я вам сообщу два слова? А может быть, вы с них поправитесь». Тут он и свернул топ. «Приходите до меня в будку». Ну, там мы сразу и поладили: двух овецек и полтыщи деньгами. Он было заломил в квадратном размере, да со мной шибко не разоидешься. В общем, друзья, гроши на стол — и душа на простор!

Теперь херсонцы повернулись к Веревкину. Старший зоотехник, слушавший разговор с невозмутимым видом, буркнул:

— Оставим эти пустяки.

Оживление сразу утихло.

— Отчего ж? — спросил Упеник спокойно, даже почти весело. — Что скот государственный? И мое такое ж мнение, — он выдержал паузу. — Однако, Осип Егорыч, вам известно, что немец находится не за кавказскими хребтами. Ведь для танков шестьдесят — восемьдесят километров — это пустяк с довеском. По-моему, Осип Егорыч, советский хозяйственник должен быть гибкий, как лозина, а не сидеть вроде горошины в консервной банке. Что выгодней для государства: потерять три тысячи голов скота или отдать пару захудалых овецек, которые, глядишь, и сами по дороге сдохнут? А полтыщи монет? Да мы их на молоке покроем.

Веревкин лишь посапывал.

— А в общем, как желаете, — сказал завснабом, и усмешечка залегла в углу его тонких губ. — Мое дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не расцветай. Я ведь лицо не подотчетное, просто для табора хотел... Если ж прищемит хвост, Днипро и вплавь перемахну.

Из толпы вдруг выдвинулась Христя Невенченко; маленький рот ее подергивался, щеки побелели, она заговорила, срываясь на шопот, видимо, с трудом сдерживая себя:

— Да чи вы шутите, Осип Егорыч. Я в Рудавицах бросила не две овечки, хату новую бросила, сад в сорок два корня, амбар с хлебом. У меня один сальный кабан девять пудов весил, нехай немец им подавится! Мне всего нажитого не жалко, абы не остаться на посмеяние е м у, проклятому. Или мне гестапы не попомнят Мыколу, что на фронте в зенитчиках воюет? Вместе с дытной загубят. А вы какие-то там гроши, пятьсот чи сколько, для народа жалеете. Да мы их сами соберем, на человека, небось, и по трешнице не упадет.

Галя Озаренко внимательно прислушивалась к спору. Она была довольна, что рабочие насели на Веревкина, но ей стал противен разговор о взятке. Обращаясь к доярке, она сказала:

— Мои только три рубля не считайте. Я лучше всю зарплату в Днипро выкину, чем дам хоть копейку этому жулику с переправы.

Христю, как ветром, повернуло к ней:

— И вам душа дешевле гроша?

Готова была вспыхнуть ссора. И тогда, наконец, вмешался Веревкин:

— Что попусту толковать? Сейчас главный здесь Козуб: я заступлю лишь на той стороне Днестра. Можете обождать его до завтра? Притом, ведь никто еще нашу очередь не отнимает, — Веревкин спокойно обвел глазами херсонцев. — Но если бы решал только я, то, конечно, ни овечек, ни денег коменданту не дал бы... Какая разница для государства, захватит немец гурты «Червоного Херсонца» или колхоза «День урожая»? Не те же советские люди, не тот же убыток? Конечно, дурно, что тебя несправедливо оттирают. Но если что делать — это помочь переправе работать бесперебойно, без простоя: вот на этом мы действительно можем выиграть время.

И словно утомленный длинной речью, Веревкин медленно поехал к задним гуртам. За своей спиной он услышал, как седоусый гуртоправ дед Рындя говорил доярке:

— Заспокойся, Христино, заспокойся. Егорыч правильно обсудил: перед каждой гадиной нечего на дудке играть.

Трясаясь на мерине по пыльной дороге, Веревкин подумал: что бы он сделал, если бы германские армии и впрямь прорвали фронт? Ведь это вполне возможно.

И тут же без колебания ответил: погнался бы скот вплавь: какой спасется — добро, а какой утонет — тот хоть немцу не достанется.

V

Гурты «Червоного Херсонца» стали табором за селом. Едва спустилась ночь, весь огромный лагерь наполнился тревожными слухами: одни говорили, будто немцы прорвали фронт и к рассвету будут здесь; другие — что выброшен десант для захвата переправы; третьи «видели», как «юнкеры» разбомбили ближний город Берислав, хотя взрывов никто не слышал. Люди волновались, не спали. Больше всего пугало мутное багровое пламя, возникшее далеко в черноте ночи: видно, немецкие «ассы» подожгли какое-то село или хутор. А утром старший гуртоправ Илья Гаркуша доложил Веревкину, что сбежали три доярки и чабан, очередь совсем не движается: комендант пропускает кого хочет, а теперь и список потерял.

Только к полудню приехал на своей тачанке Козуб (все легковые и грузовые автомашины совхоза забрали в армию).

— Что носы повесили? — громко поздоровался он с людьми. — То ж пускай галки делают. А мы должны лицо держать твердо. Мы теперь не кто-нибудь — те ж трудовые солдаты. — Узнав, как обстоят дела, он долго не раздумывал. — А ну, пойдете на берег, — и, решительно размахивая широко расставленными руками, первый двинулся к спуску.

Далеко, на той, «обетованной», стороне огромной реки, знойное небо казалось мутным, песчаный берег и серо-лиловый вербняк выступали, как из тумана. Над ослепительной водной ширью носились мартины, тучей висели оводы. Скота на кремнистом берегу осталось уже значительно меньше. Зато и огромную баржу и моторный паром заняла разбитая батарея, шедшая в тыл на реформирование. Орудийная прислуга грузила тягачи, пушки, машины, какие-то ящики. Возле них в понурой позе безнадежно ожидающих стояли пять-шесть человек: вероятно, председатели колхозов.

Козуб отыскал командира — одутловатого, черного от пыли здоровяка — и попросил помочь переправить скот.

— А еще чего?— сказал командир, странно тараща глаза и стараясь не моргать. — Может, желаете мороженого — освежиться?

Козуб улыбнулся. При улыбке губы его вытягивались вперед, толстое лицо покрывалось складками, глазки тештели, и, глядя, как этот огромный, мощный человек вдруг становится добродушным, невольно хотелось сделать ему что-нибудь приятное.

Но командир не стал его слушать: видно, ему уж надоели с такими просьбами. Козуб, однако, не унимался.

— Ведь четвертые сутки скотина томится, — продолжал он. — Овод проклятый замучил, корма округ на десять километров вытоптали. Ведь скот-то не наш, — государственный.

Командир неожиданно рассердился.

— А я что, частный? — закричал он. Глаза его сердито округлились. — Если все время будут мешать работе армии, кто вас защитит?

— Это правильно. Но одними снарядами воевать нельзя. Небось, бойцы и мяса захотят? А убоинку, масло, хлеб, овощ кто даст фронту? Мы. Вот у меня сейчас две овцы захромали, я их тут в селе сдам государству: берите, только документ оформим. Ну что, если немец наплет? Вы хоть из орудий можете отбиваться, а мы? Бычьими хвостами?

— Философствуете, — вяло пробормотал командир и опять стал таращить глаза.

— Вы селянин, — пристально глядя на него, сказал Козуб. — А я и пастух в прошлом. Сердце переворачивается, когда подумаешь, сколько скота может загинуть. Давайте вот как сделаем. Уступите нам паромчик, а мы вам народу подбросим на погрузку: баржа станет быстрее оборачиваться, вот и выйдет как у доброй бабы: и она с прибылью, и мужик без убытку. — Он повернулся к людям: — А ну, хлопцы с «Херсонца», председатели, директора, разинули рота, як ворота! А ну: ра-аз, взяли!

И, навалившись на мелкокалиберную пушку, сам сдвинул ее вниз к сходям.

Командир вдруг улыбнулся, и тогда все увидели, почему он тарасил глаза: боялся заснуть стоя.

— Уж что с вами поделаешь! Только народ дайте покрепче.

Весь «Червонный Херсонец» загудел, словно улей,

когда узнал, что, наконец, можно переправляться. Торопливо заскрипели арбы, замычала поднимаемая скотина. Директор с Веревкиным отошли в сторону.

— Ну, инструктировать мне тебя, Осип Егорыч, нечего: сохраняй худобу, как свои зубы. Я ж обратно — убирать хлеб. Сейчас мы на усадьбе колем для армии свиней, зерна отгружаем, сколько схотят, лишь бы давали расписки. А там райком укажет: оставаться мне в партизанах или догонять вас. Ну, ни пуха, ни пера!

VI

От Днепра на Запорожье тянутся привольные густотравные степи, блестят в них широкие накатанные дороги да высятся лобастые курганы. Где-то впереди всего табора (так сразу стали звать колонну) бежала конная разведка во главе с Омелькой Лобанем; за нею двигался головной гурт — неторопливый поток из рогов, широких спин, раздвоенных копыт; следом, на расстоянии полукилометра, второй и так до последнего — девятнадцатого; их замыкали конский табун и овечьи отары. Гонщики с длинными пеньковыми кнутами ехали верхом на лошадях, не давая скотине разбредаться. В крытых арбах везли сепараторы, фляги, пожитки; ребятишки, сопровождаемые лающими собаками, взапуски бегали по колючим стерням. Над гуртами со звоном носились слепни, мухи-жигалки, оводы, сплошным полотнищем нависала пыль.

Погода стояла ясная, народ чувствовал себя в безопасности, и, объезжая колонну, Веревкин с удовлетворением отметил, что настроение везде держалось бодрое. Поровнявшись с четвертым гуртом, который назывался «кошарю», он еще издали услышал залихватый, как будто несколько наигранный девичий смех, придержал буланого и сделал вид, что смотрит в сторону. По дороге на молодой рыжей кобылке подъезжала Галя Озаренко. Веревкин увидел ее маленькую полную руку с часиками на запястье, лыжную куртку светлокорицевого цвета, круглое колено, обтянутое штаниной. Стремя в стремя на «торговском» игреневом дончаке, выпряженном из тачанки, гарцовал Олэкса Упеник. Близко наклоняясь к девушке, играя блестящими карими глазами, он что-то

рассказывал ей, а она с удовольствием слушала и смеялась.

Влиться в «кошару» рядом с ними у Веревкина нехватило решимости. Он пропустил две крытых фанерой арбы и пристал к третьей, надеясь постепенно нагнать Галю. Сквозь приподнятый край брезента, которым была крыта эта арба, Веревкин разглядел женщину, спавшую на подушках; остальные совхозники сидели: видно, шла обычная беседа. Вот сутулый чабан осторожно вытряхнул из кисета махорочную пыль, набил обкуренную трубку.

— Дожили. Одонья курить приходится. Впору зайчиный помет собирать. А бывало, придешь в кооперацию, тут тебе чего только нету! И махорка, и табак, и папироски, и цыгары... такие, с цельного листа крученые. Только разве кальяна не было. Это турецкие генералы курят. По-ихнему — апаши.

— И-и, только вспомнить, — вступила в разговор тетка Параска. — Уж так-то жили, как поп на пасху. Утром глаза продерешь, уж радио гимнастику играет. Кровать у нас была чисто панская, на сетке, по краям такие шарики: глядеться можно. Зеркало аж до потолка, со столиком — трюм называется. А уж что хозяйства-а!.. И все пришлось бросить, как пегому кобелю под хвост. Одну лишь корову в стадо сдала. Директор сказал: «Как дойдем до места, получишь на руки». Навесила замок на дверь, да с тем и была: словно погостила у хорошей жизни. А индюки остались. И ути. Глянула, плавают в сажалке. Ути.

Тетка Параска концом платка вытерла глаза.

— Да, ничего жили, — подтвердил басовитый голос Ивана Ревы. Ни лица его, ни фигуры Веревкину не было видно. — Бывало, вернешься под выходной с поля, переодел костюм — и куда? А в ресторан через улицу. Котлетку там тебе подадут на тарелочке, малированный огурчик — все так культурно, спокойно. Баянист сообразит «В степу под Херсоном», примешь четвертинку — и домой ночевать. Ну... было где душе разгуляться.

— А все немцы, нехай бы им икалось, — заговорила Христя Невенченко. — И скажи, как такую нацию может бог терпеть? Прямо... драконы какие-то. Отобьются ль от них родные наши защитники? Увижу ль я своего Мыколу?

— Отобьются, — заявил кто-то уверенным голосом,

и Вережкин узнал бригадира Нечипора Маруду. — Вон в гражданскую аж четырнадцать держав обложили нас с четырнадцати сторон, а что вышло? Съели по мордам и больше не запросили.

VII

От жары вся степь замолкла, и, казалось, даже кузнечики в траве сонно потрескивали своими крыльями. На слепящее солнце иногда находили облака, но облака эти были перистые, прозрачные, которые никогда не дают тени, и солнце сквозь них просвечивало, как сквозь белые газовые косынки. Седая полынь, желтоглазый молочай, кусты мяты, что в августе только зацветает и начинает сильно пахнуть, — все будто ссохлось и просило передышки от зноя. В стороне, на каменной бабе кургана, опустив крылья, раскрыв клювы, сидели два осовевших от зноя коршуна. Даже тени словно хотели спрятаться за волов и арбы, сделаться покороче. Пегая собака, поджав хвост и вывалив розовый язык, брела под самым возом, оглядываясь на скрипучие колеса да пустую цыбарку, прицепленную к задку. День стоял совсем июньский, но горячий ветерок, вместе с пылью, подымаемой гургами, уже носил по воздуху пушистые семена облетевшего иван-чая, чертополоха.

Подтолкнув коленями своего буланого, Вережкин, наконец, обогнал арбу, и перед его глазами опять показались крупы двух рядом идущих коней: ветфельдшерской кобылки и игреневого дончака. Ему стал слышен и разговор. Галя Озаренко спросила:

— Отчего же вы, Олэкса, избрали профессию торговца?

— «Работника прилавка», вы хотели сказать? — невозможно поправил Упеник. — А то ведь до революции торговцами называли собственников прилавка.

Галя улыбнулась:

— Ладно, будь по-вашему. Так отчего?

— Очень просто, — немного рисуясь, шутливо пожал Упеник плечами. — Мой папаша еще с детства учил меня: «Греби, сынок, не от себя, а к себе». Стать бухгалтером? Это, значит, другим выплачивать, да и... долго арифметике учиться. А тут червончики сами ко мне в кассу катятся. Чем плохо обогащать государство?

Опять рассмеялись.

— А что?— живо и несколько уязвлено спросил Олэкса.— Хиба при мне гуртам плохо? Жалуется народ на снабжение?

Его поспешили разубедить. Действительно, продуктами херсонцы вполне были обеспечены: Упеник умел доставать продукты там, где ничего не выдавали, а прокисшее совхозное молоко продать в таком месте, где не покупали и свежего.

Мерин Веревкина почти поровнялся с конями ветфельдшерицы и завснаба. Увлеченные разговором, они его не замечали. Теперь Упеник, заглянув Гале в глаза, спросил:

— А почему вы, Галечка, стали ветфельдшерицей?

— И меня отец научил,— в той же шутливой форме ответила девушка. — Я с детства очень любила кошек, щенят. Вечно у меня все руки были исцарапаны. Брат дразнил меня: «животный адвокат». Отец мой был поверенным по гражданским делам, и я на него всегда нападала: защищаешь людей, а они и сами могут за себя постоять, почему же никто не защищает животных?.. Ну и стала их лечить. Только мне после техникума надо два года поработать, а уж потом стану учиться на врача.

Она увидела Веревкина, и вся ее посадка стала какой-то надменной. Упеник поздоровался. Зоотехник угрюмо кивнул, перевел буланого на рысь, но дорогу ему загородило разбредшееся стадо. Веревкин пробился не сразу и слышал, как позади него, переменяв разговор, Галя задорно воскликнула: «Нет, я!» Упеник весело и самоуверенно отозвался: «Чтобы женщина была первая? Это лишь в сплетнях. Хотите американское пари?»

Лавируя между коровами, Веревкин пробился через гурт и затрусил к головному: одиннадцать часов, пора объявлять привал: скотина нудилась и приостанавливалась.

От первого гурта навстречу Веревкину подъехал Гаркуша на гнедом сухоногом коне. Его словно и жара не брала: так же подобран, ватник застегнут на все пуговицы. Ткнув сложенной плетью в направлении хутора с тополевыми левадами, он сказал:

— Придется маленько свернуть. Разведка Омели Лобаня передала: речка там и выпаса́ добрые. Как?

— Что ж, отдавайте команду.

Позади вдруг послышался бешеный топот, и мимо них наметом пронеслись два конника. Впереди, потеряв берет, возбужденно блестя глазами, скакала Галя Озаренко. Ее упорно обходил на своем игреневом Олэкса Упеник. Он пригнулся к шее жеребца и, стиснув зубы, нахлестывал его нагайкой. Пыль так и рвалась из-под копыт их лошадей. Веревкин едва успел повернуть к ним мерина, как они уже пронеслись.

— Коней-то! — закричал он вслед. — Коней-то!..

Они его, конечно, не слышали.

Все уменьшаясь и уменьшаясь в размере, всадники вскоре стали похожи на степных птиц.

— Жируют, — сказал Гаркуша и усмехнулся. — Он, этот Олэкса, уж давно к фельдшернице прислоняется. Еще в совхозе, когда заведывал торгом, как только получит что-нибудь в магазин — сейчас ей. Туфли на каблучке дарил, да, говорят, не взяла. Сама, мол, работаю и при состоянии. Все орехами угощал, гулянки с вином устраивал, сколько денег убил! Откуда только они у него брались?

Веревкин сердито промолчал.

Старший гуртоправ неторопливо порыснул к головному гурту.

Минут через пятнадцать гонщики захлопали бичами, стали заворачивать. Вся колонна повеселела. Замычала и скотина, почуявшая отдых и пастьбу.

VIII

Место для стоянки находилось километрах в трех от хутора, в низине, возле тихой степной речонки, поросшей телорезом, кугою и зелеными медалями лягушачьего водокраса. Когда подъезжали, в заводях плавал окрепший утиный выводок, серая цапля неподвижно стояла у берега на одной ноге и пристально смотрела в воду, точно любовалась собой. Все они с шумом снялись и невысоко потянули к темно синеющему гаю.

Скот пустили выгуливаться, по всей лощине голубовато задымили костры, на треногах зачернели котелки с полевой кашей, запахло дымом кизяка. Ожила зеленая мелководная речонка. Мальчишки, блестя загорелыми телами, стали купать коней, ловить раков. Хозяйки, чуть

отступя, стирали белье и тут же на травах сушили его под солнцем.

В середине табора, возле переходящего знамени Наркомата совхозов, которое «Червонный Херсон» держал вот уже второй год, Веревкин разговаривал с главным бухгалтером. Обсуждали сумму ассигнования для улучшения харчей из денег, вырученных от продажи молока. Дело в том, что удои не всегда удавалось селарировать, а сливки и обрат сдавать на пункт: нехватало фляг. Поэтому зачастую молоко продавали населению тех городков и поселков, мимо которых шли, меняли в селах на яблоки, дыни, безвозмездно поили встречаемых красноармейцев, надолго подпускали сосунков-телят к коровам; обрат же иногда приходилось и просто выливать на землю. Частный покупатель платил высокую цену, деньги невольно накапливались, и вот эту разницу между государственной и частной ценой отдавали в общий котел.

Из степи — не с той стороны, откуда подошли гурты, а совсем с другой — показались Галя Озаренко и Упеник. Веревкин еще издали услышал их голоса и невольно насторожился.

Вот знакомый девичий:

— Если бы моя лошадь не споткнулась, вам, Олэкса...

Мужской:

— Все одно: обогнал бы.

— А я говорю, это вышло случайно.

— Можете давать любую характеристику. Только помните: за вами пари.

Девичий голос вдруг смолк, и слышался лишь топот копыт. Когда всадники поровнялись с Веревкиным, он окликнул их. Галя и Упеник остановились.

— Вы что же это коней-то?.. — сердито начал Веревкин.— Этак и загнать недолго.

Лошади действительно потемнели от пота, высоко носили боками. У мундштуков игреневого дончака нависла пена.

— Мы просто немного наперегонки, — удивилась Галя.— Ведь совсем недалеко...

— Много силы накопили? — перебил Веревкин, сумрачно воодушевляясь.— Так вы собственными бы ножками. А коням, еще не известно, сколько сот верст покрыть придется, да и в новом совхозе им не шестимсячную завивку станут делать, а пахать на них, боронить...

Счастливого выражение сбежало с лица Галя, она вспыхнула:

— Может, вы нас в угол поставите, товарищ Веревкин? Или составите акт о злоупотреблении тягловой силой? Уж вы заодно составьте акт и на фрицев, ведь это из-за них у коров сейчас молоко синеть начинает. Лошадям разогнать кровь даже полезно, все время шагом плетутся. Просто вам досадно, что люди хоть немножко развеселились,— вы и придираетесь. Как же, не подаля вам заявления: можно ли проехаться рысью?

Она высокомерно прищурила глаза, и Веревкин замолчал. Галя отъехала к свой арбе. Тогда Олэкса Упеник сказал весело и примирительно:

— Зря вы нас, Осип Егорыч, даю благородное слово. Просто кони понесли. Уж вы не обижайтесь, авось скотину пригоним в средней упитанности.

Против ожидания, Веревкин ответил очень спокойно, даже кротко:

— «Авось» и «как-нибудь» до добра не доведут.

Он повернулся и пошел, так и не кончив разговора с главным бухгалтером. Сзади донесся громкий шопот одной из доярок:

— И скажи, чего сказался? Из ревностей, что ли?

Осип Егорыч ушел в степь, подальше от табора, лег на спину и заложил руки за голову.

С густой небесной синевы донеслось курлыканье. Журавли летели не обычным треугольником, а на витых кругах подымались все выше и выше в небо. Вдруг они спустились и рассыпались понизу, будто вспугнутые невидимым орлом, по степи зарябили их дымчатые тени. Недалеко от земли опять слышались голоса, напоминающие звуки валторны, стая вновь круто начала забирать под облака, выстроилась и потянула через слюдяную прожилку речки к лиловому хутору. Журавли совсем было скрылись из глаз, но опять повернули обратно, и тогда Веревкин понял, что это молодец под руководством опытного вожака обучается перед отлетом на юг. Август — пора, когда птицы собираются в большие стаи; с далекой тундры уже давно началось переселение куличков.

Из головы Веревкина не выходили слова доярки: «Чего сказался? Из ревностей, что ли?» Да. Зачем скрывать от самого себя? Права она. Тридцать два года мужику, вдовец, старший зоотехник и... скажи на милость!..

Он вспомнил, как возникло его чувство к Гале.

В совхоз Озаренко прислали этой весной, незадолго до войны. Однажды, вернувшись из степи, Веревкин увидел совсем молоденькую девушку, нового работника; мимоходом узнал ее имя, откуда она. Приглядываться было некогда: то совещания, то вызов в район, то объезды пастбищ, то осмотр скота. Недели две спустя, на собрании, Веревкин снова встретился с Галей и впечатление вынес невыгодное: слишком громкий смех, неестественная порывистость движений. И откуда у девочки столько самоуверенности? Здесь Галю и «представили» ему: «Вот наш новый ветфельдшер». Веревкин пожал маленькую сильную руку.

В майские праздники, после торжественного заседания, дирекция, как обычно, устроила для рабочих и служащих гуляние. Из винсовхоза привезли бочонок рислинга, завели радиолу, пригласили баяниста и скрипку из ресторана, молодежь стала танцевать вальсы, фокстроты. Веревкин сидел и пил вино. Неожиданно к нему подошла Галя: «Может, вы все-таки расстанетесь с кружкой?» — и весело пригласила сплясать с ней гопачка. Веревкин сослался на неумение. Галя не отставала: «Тогда хоть спойте. Нельзя же сидеть в обществе бирюком». Он усмехнулся: «Чтобы мне запеть, надо еще литра два выпить. Да боюсь, вы слушать не станете. Притом в коровник пора». Веревкин поглядел на карманные часы, поднялся, а она вспыхнула.

Но по дороге на скотный у него вдруг мелькнула мысль: вот бы жениться, соединить два таких противоположных характера? Стало дико, смешно и... запало, что ли? Только с этого времени перед ним часто всплывал образ Гали, приглашающей его на гопачок. Как это могло случиться? Как вообще приходит любовь? Что ему прежде всего понравилось в Гале? Способность краснеть по всякому поводу? Голос, манера зачесывать волосы с этой чудесной золотой прядью, ямочка на левой щеке? Или задели за живое ее задиристые нападки? Ведь не могла же она ему понравиться только своей внешностью. Внешностью увлекаются в молодости, а в его возрасте уж ищут душевного родства: значит, были в ее характере черты, которые его пленили? Может, искренность, веселость, та чистота, с коготорой связано само представление о девушке? Веревкина все больше и больше влекло к Гале,

он противился этому всем своим существом. А здесь, в эвакуации, стало совсем трудно: все время на глазах, чаще приходится сталкиваться по службе. Даже доярки заметили.

Впрочем, у Гали, кажется, уже есть парень: Олэкса Упеник. Олэкса красив, самоуверен, щедр на деньги, а разве этого недостаточно? Юность — пора увлечений, и девушки зачастую готовы соединить свою жизнь с первым приглянувшимся: из хорошего молодца можно сделать и отца.

...Из табора послышалось ауканье, ржанье коней: три часа — время ехать.

IX

Колонна двигалась проселками, огибая города, и к началу сентября вступила в Запорожскую область. Часто до херсонцев доносился зловещий гул «юнкерсов», взрывы бомб, и на горизонте вдруг вставало багровое зарево, освещающая развалины доменных печей, дымящиеся башни кауперов, пепелища поселков. А навстречу гуртам то и дело попадались танковые полки, пехота, батареи — они двигались к фронту. Во всех районах совхозники встречали роты ополченцев, девушек в форме, с противогазами.

Под вечер за Гуляй-Подем к Веревкину торопливо подъехал гуртовой бригадир Нечипор Маруда — хромой, в белой бараньей папахе, белой свитке, подпоясанный расшитым кушаком. Его зеленоватые глаза на веснущатом лице выражали тревогу.

— А я, Осип Егорыч, в аккурат до вас, — сказал он, пуская своего коня рядом с буланым зоотехника. — С бычком у меня неладно: нога чисто пузырь поделалась, не может бычок итти. Полинарий Константиныч обглядели и говорят: болезнь невылечимая ввиду окружения обстановки, а поэтому оформить акт и сдать в ближний совхоз.

— Сдать? — перебил Веревкин, резко осадив мерина. — Это какой же бычок?

— Вот и я ж к тому, — горячо подхватил Маруда. — С рук долой и моя хата с краю? Бычок-то чистопородный — Важный. От Дуськи и Молодца. Прямо бы сказать... красивый бычок.

Стегнув мерина, чего почти никогда не делал, Веревкин поскакал вперед к шестому гурту. Важного он помнил отлично, сам присутствовал при его отеле и возлагал на него большие надежды. Отец бычка, племенной производитель Молодец, имел тысячу пятьсот килограммов весу и на сельскохозяйственной выставке в Москве взял большую серебряную медаль.

Закат охватил полнеба, как это бывает только на юге. Багровое раздувшееся солнце уже почти скрылось за голубую кромку степного горизонта и теперь просвечивало сквозь нее, словно его опустили за цветное стекло. Пахучий донник и чернобыльник порозовели, затихли: казалось, они прощались с днем.

Еще не доезжая до шестого гурта, Веревкин сбоку дороги заметил Кулибабу и Галю Озаренко. Ветфельдшерница что-то горячо и упрямо говорила своему начальнику. Вокруг, как и при всяком происшествии, начал собираться народ. Важный лежал на траве. Осторогий, с прямой мускулистой спиной, сильно развитыми плечами, отвисающим подгрудком, широкими копытами, бычок действительно был не только крепкой, но и мощной конституции. Но в его выпуклых лиловых глазах не было обычного свирепо-веселого выражения, красная, почти темновишневая шерсть уже не отливала блеском.

Веревкин спешил, взял в руки толстую больную ногу бычка, осмотрел, пощупал. Повернувшись к Гале Озаренко, сухо спросил:

— Почему Важному до сих пор не сделали перевязку?

Галя поглядела на Кулибабу, опустила голову и негромко ответила:

— У нас нет медикаментов. И... вообще перевязочных средств.

— Как то есть нет? Почему нет?

В голосе Веревкина звучало неподдельное изумление, даже страх. На Кулибабу он старался не смотреть. Но Галя опять вопросительно вскинула ресницы на своего начальника:

— Ключи от аптечки находились не у зоосанитара, не у меня, а в ведении Аполлиария Константиновича. Он всегда сам определял и рецептуру... Я ведь только первый год практикую.

Высокий лоб Кулибабы, рыжие брови, щеки были покрыты пылью, но из-под плаща выглядывал неизменный, хотя и перекрученный галстук, который только он один носил на работе. Агрономы шутили, будто Кулибаба своим видом хочет подчеркнуть, что он истый одесит и в совхоз переехал лишь из-за больной жены: ей нужны свежий воздух и парное молоко.

— Вы спрашиваете, Осип Егорыч, почему? — негромко вступил он в разговор. — Это я виноват: в эвакуационной спешке я забыл захватить лекарства. Тут семья, с женой чуть ли не сердечный припадок... Раньше премировали за аккуратность, а тут забыл: война. Впрочем, лизол, марганцовку, амморген, даже холщевые бинты и пинцеты мы достанем в любой районной аптеке. Только я все не возьму в толк, какое это имеет отношение к происшествию с Важным?

Белея в сумерках папахой, Маруда смотрел только на Веревкина. Взгляд у Гали Озаренко был беспокоен, чувствовалось: ей хочется что-то сказать. Тетка Параска, подперев рукой щеку, горестно вздыхала над бычком. Дед Рындя слушал, опираясь на пастуший чекмарь.

— Опухоль у Важного горячая, — продолжал Кулибаба — видимо, обыкновенный ушиб и подкожное кровотечение. Тут особых и лекарств-то не надо: повязку из жирной глины с водой и уксусом — вот и все. Но ведь и с повязкой бычок не сможет итти... А колонна не может дожидаться несколько дней, пока он выздоровеет. Так? Поэтому только и остается — составить акт, написать его по балансовой стоимости и сдать в ближний совхоз. Кто нас может в этом упрекнуть?

Веревкин наконец поднял на ветеринара глаза, глухо ответил:

— Мы сами. Совесть наша.

— Совесть? — Кулибаба поправил пенсне. Его тонкие пальцы слегка задрожали. — Очень приятно, Осип Егорыч, что вы такой гуманист и альтруист, но мы же Важного не на дороге бросаем? Я вообще отказываюсь вас понимать: почему вы трясетесь над каждой скотиной? Ведь многие из этих коров в тылу с голоду сдохнут. Может, вы думаете, что нас за Доном или Волгой ждут с распростертыми объятиями, заготовили жмыха, концентратов или хотя бы сена? Как же, держите карман шире! Им, небось, к весне и для своего скота нехватит.

А с этим бычком сейчас ничего не придумать... Или, может, вы его в карете повезете?

— Да, повезем.

И, повернувшись к Маруде, Веревкин коротко распорядился:

— Заверните сюда мою арбу.

Маруда, словно и не сомневался в подобном окончании дела, хлестнул коня и поскакал. Веревкину показалось, что взгляд Гали Озаренко остановился на нем с удивлением и странным вниманием. Во все время спора она держалась близ Кулибабы, как бы желая подчеркнуть, что они составляют единый профессиональный фронт. Сейчас она даже сделала шаг к зоотехнику, но, как бы запнувшись, присела над бычком и стала его глядеть.

Кулибаба пожал плечами и молча ушел.

Х

Стемнело, заря все еще догорала, на розовом западе, невысоко над степью, спокойно голубели тучки. Золотыми начищенными червонцами заблестели планеты: звезд еще не было видно.

— Оно хоть и бычишко, — певуче обсуждала происшествие тетка Параска, — а как не пожалеть? Раз мы сами не уберегли, в чужом совхозе возиться с ним не станут, прирежут. Я вот как вспомню своих утей, индюков, так сердце и заходится. Небось, немец их уж сожрал.

— Лиха беда начало, — бубнил дед Рындя. — Кинуть и не попробовать уберечь? По течению лишь сонная рыба плывет.

Только Иван Рева не согласился с общим мнением:

— Думаете, вы сбережете Важного, что погоните его дальше? Я бы вместо него сам остался в этом совхозе. Директор в Рудавицах говорил: всего на сто верст за Днипро отступать будем, а уже и триста прошли, и все конца края не видать. Не пришлось бы, гляди, и людям по дороге ноги вытянуть.

Табор остановился на ночь, когда подъехала арба Веревкина. Галя все не отходила от Важного. Только что она горячилась и спорила с Кулибабой, настанвая,

чтобы Важного не сдавали в ближний совхоз. Старшего зоотехника она полчаса тому назад по привычке встретила враждебно. Когда же Веревкин распорядился везти бычка дальше, она от неожиданности притихла. И теперь, глядя, как Осип Егорыч забрал с передка арбы свой тощий мешок, ружье и оглянулся, ища, кому бы отдать их на временное хранение, Галя неожиданно для себя сказала:

— Давайте я к себе в арбу положу.

Гаркуша подхватил вещи зоотехника, передал ей. Осип Егорыч даже не глянул, кому вручили его пожитки. Он еще не успел распорядиться, а уж на дно арбы кинули свежей травы, десятки рук сами подхватили забрыкавшегося Важного, подняли и бережно уложили его.

Волы тронули. Сбоку скрипучей арбы на мерине поехал Веревкин. Глядя ему в спину, пожилая доярка бойко зачастила соседке:

— И всегда он такой, затехник наш. С людьми слова кусачками не вытянешь, а до скотины угодник. Лопни глаза, не брешу, в совхозе раз обнял так-то вот Морю за шею, ей вот-вот телиться, а он ей: «Ничего, крепись!» Это корове-то: «Ничего, крепись», — говорит. Я в аккунат за перегородкой была, слышала.

Приторочив веревкинский мешок к седлу, Галя Озаренко тронула кобылку. Она порысила между гуртов, которые уже остановились на ночлег, и стала расспрашивать, где их «кошара».

Давно угасла заря, потемневшее небо слилось с тучками, зато густо высыпали серебряные звезды. Было душно; в траве протяжно кричали сверчки — к ведру. Мирная вечерняя жизнь текла в таборе. Ночные пастухи уже выгнали на толоку коров, дневные гонщики разбрелись отдыхать по своим арбам. От стада возвращались доярки с полными подойниками парного молока и тут же разливали его в подставленные котелки. Всюду садились ужинать, костров не зажигали из опасения налета немецких бомбовозов, но то там, то сям краснели цыгарки. Где-то уже заиграл патефон, в дальнем гурту лаяли собаки, тихонько пели два девичьих голоса.

Свою арбу Галя, как всегда, нашла возле арбы ветеринарного врача. Стоя у заднего колеса, Марина Геор-

гневна из кувшина поливала воду на руки мужу, а он, отфыркиваясь, говорил:

— ...или оригинальничает, или ищет популярности среди обозников. Подумаешь, сохранил совхозу бычка! Может, и мне взвалить вещи на спину, а в свою арбу положить следующую заболевшую пациентку, какую-нибудь корову Намысто? Я честно выполняю свои обязанности перед государством, пусть же и оно обеспечит меня хотя бы минимумом удобств. Я и так сейчас слишком много теряю.

Остановив кобылку, Галя спрыгнула на землю. Марина Георгиевна оглянулась, приветливо окликнула:

— Кто это? Вы, Галечка?

— Я, Марина Георгиевна.

— Наконец вернулись? Вы, бедняжка, совсем заработаетесь.

— О, ничего. Я не устала.

Кулибаба, с засученными рукавами, в подтяжках, стал утираться мохнатым полотенцем. На коврике перед арбой уже был приготовлен ужин: фаянсовые тарелочки, никелированный кофейник с парным вечерним молоком, мелко нарезанное сало, хлебница с кукурузными лепешками, прикрытая салфеткой. Вокруг арбы бегал семилетний Горик в панаме и красном галстучке на тонкой нежной шее: он целился из детского ружья в воображаемых уток и кричал:

— Трах! Тарах! Мама, можешь брать дичь на жаркое.

— Скорее ужинать, Галечка, — сказала Марина Георгиевна, все еще держа кувшин. — Очень хочется есть, да и Горику давно пора спать: ребенок с этой эвакуацией совсем замучился. Сегодня, значит, Галечка, вам попало из-за этого злополучного бычка? А что это у вас за мешок?

— Веревкина. Вещи.

— Что-о? Вы — и вдруг в роли оруженосца у этого «свирепого сераскира»? — Марина Георгиевна засмеялась и всплеснула белыми полными руками в браслетах. В темноте смугло белело ее круглое напудренное лицо, слегка отечное, как у всех сердечников. — Однако Осип Егорыч не без заднего ума. Благороден-то он, благороден, а свои вещи навязал другому. Слышишь, Апоша? Теперь я понимаю этот его красивый жест... с арбой.

К ним подошел Кулибаба. Он уже был в пиджаке, галстук и причесывал свои мелко вьющиеся смоченные волосы.

— Обычная манера всех демагогов,— спокойно сказал он.— Говорить красно, а поступать выгодно для себя.

Галя перебила:

— Я сама взяла его вещи.

Наступило неловкое молчание, супруги переглянулись. Марина Георгиевна погрозила девушке пальцем и засмеялась:

— О! Смотрите, не влюбитесь.

Галя презрительно оттопырила нижнюю губу.

— Я шучу, Галечка, шучу. Я знаю, какое у вас отзывчивое сердце, потому-то мы вас так и полюбили: ведь вы у нас как родная. Просто у вас головка немножко... сумасбродная. Молодость. Кстати, мы заговорили о вещах: Галечка, милая, мы к вам опять с просьбой. Ведь наши ковры, что были в арбе Веревкина, пришлось снять. Не возьмете их к себе? Голубчик, мы знаем, что и так вас стеснили, и поверьте: нам очень неудобно, но куда их девать, куда-а? Ах, эта война!

— Пожалуйста. Я сейчас, только положу вот этот мешок.

— Бога ради!

Стреножив и пустив пастись кобылку, Галя залезла в свою арбу, пропитанную запахами степных цветов, привязанных пучками к дробинам. Ехала она с младшим агрономом Паней Мелешко; багаж их состоял из двух чемоданов, корзины и одеял, тем не менее в арбе трудно было спать вытянувшись: весь задок загромождали вещи Кулибабы. Теперь вот еще придется положить ковры: ну ладно, лишь бы после эвакуации Аполлинарий Константинович помог устроиться в ветинститут. Галя села на тюк с одеялами. Она устала за день, переволновалась с бычком, и ей хотелось побыть одной. Во-первых, надо было обдумать свое отношение к Веревкину. Как это, в самом деле, могло случиться, что она вдруг «изменила» Кулибабам и взяла у него мешок? Привыкнув предвзято относиться к каждому шагу зоотехника, Галя, сама того не замечая, много о нем думала. И теперь решила, что просто «размякла» в благодарность за Важного. Вот сентиментальная дуреха! Галя сердито покачала маленькой ногой, вздохнула и неожиданно почувствовала, что

очень голодна. Столовалась она с «ветеринарами»; ели Кулибабы понемногу, и ей всегда бывало стыдно наедаться досыта. Неловкость она испытывала и потому, что вот Марина Георгиевна стряпает для нее своими холеными руками, хотя дрова заготавливала Галя. Она же мыла и посуду.

...Мужской веселый голос прервал галино раздумье:
— Хозяева дома?

В арбу заглядывал Олэкса Упеник. В потемках Галя не видела его лица, но чувствовала — он улыбается уверенно и ожидающе. Галя прекрасно поняла, зачем пришел Упеник, покраснела, как-то потерялась, не находя, что делать и говорить.

— Вечеруете? — спросил он. — Да вы одна...

— Я только что от стада, — зачем-то сказала Галя.

Она неловко стала вылезать из арбы, точно боялась оставаться в ней. Юбка зацепилась за дробину, обнажила ногу. Галя поспешно оправила платье, все время чувствуя на себе упорный взгляд Упеника. От кулибавовской арбы девушку опять окликнула Марина Георгиевна: «Ужи-на-ать!» Галя оживленно ответила: «Иду-у!» И, как бы чувствуя себя теперь в безопасности, с торжеством поглядела на завснабом.

Олэкса шагнул, загородил дорогу; глядя ей прямо в глаза, негромко и значительно сказал:

— А я за должком: или забыли американское? Вот хочу посмотреть: хозяйка вы своему слову или только любите узоры разводить.

— Я ж ведь сказала, — настороженно отодвинулась Галя. — Только не сейчас, ладно? Да и Пани нет.

И, не дожидаясь ответа, Галя спрыгнула с дышла и побежала ужинать: сердце ее радостно и тревожно билось.

XI

Дождь тетка Параска предсказала еще накануне: она заметила, что коровы совсем мало пьют, в дневной же привал не пасутся, а спят.

Дождь лил двое суток. В степи резко похолодало, птицы притихли, точно их и не было. Колеса облипли грязью, увязали по ступицу, волю еле тащили отяжелевшие возы, фанерные будки, брезентовые пологи про-

мокли насквозь, в арбах скопилась вода. Наконец, на утро третьего дня, встало ясное, погожее солнце. Мокрая степь ярко заблестела, лужи, дорожные промоины отражали голубое небо. Ожили, раскрылись васильки, ромашки, откуда-то появились стайки щеглов, черноголовых славок, зорянок с веселыми красно-оранжевыми хвостами, и жирный предосенний сурок, став на задние лапы у своей высокой норы, уже по-хозяйски оглядывал просторы.

Галя Озаренко, в мокрой панаме, в засученных до колен лыжных штанах, с удовольствием шлепала босыми ногами по грязи. В руках она держала сорванную шляпку подсолнуха, ее зубы и рот были черны от шелухи. Слева от нее шла Паня Мелешко, а справа Олэкса Упеник нес целую охапку спелой кукурузы; его щеголеватые сапоги были сплошь забрызганы грязью. Они втроем направлялись в шестой гурт к бычкам.

— Ничего, Олэкса, поработайте, — весело говорила Галя. — Руки ведь не отвалятся? А Важному дополнительный рацион будет очень полезен. Знаете поговорку: скотину гладь не рукой, а мукой? После болезни организм требует восстановления потерянных сил.

— Это у Важного-то организм? — засмеялся Упеник.

— А что же?

— Медицинские нежности. Просто бычок — да и все. Так и в официальных актах обозначается: мясо-молочный скот для бойни.

Галя остановилась и топнула ногой:

— Опять? Я уж вам говорила, Олэкса, при мне так не смейте отзываться о Важном. Всякое живое существо, если оно только не вредное, требует к себе уважения. Вы будете плохим мужем, вы... не добрый.

Олэкса снова засмеялся:

— Значит, моя кандидатура отклоняется? А какой же, по-вашему, дивчата, должен быть муж? Выскажите-ка ваше полное мнение.

В этом вопросе звучало не мимолетное любопытство. Упеник обвел взглядом обеих девушек и задержал его на толстой миловидной Пане Мелешко, словно обращался к ней. Внимательно и тоже с любопытством посмотрела на подругу и Галя. Мелешко чуть покраснела, рассмеялась, неловко повела плечом.

— Какой? Не обязательно, конечно, чтобы он был принц... а то еще не дадут хлебной карточки.

Ее спутники выжидательно молчали, разговор всех заинтересовал. Паня продолжала более свободно:

— Ну, какой? Конечно, умный. Пусть не красавец, лишь бы по-настоящему грамотный... высокий... в общем симпатичный. Чтобы я с ним могла и в театр сходить, и почитать книгу, и, когда уже... ну, полная семья будет... чтобы не заставлял уходить с работы к пеленкам.

Паня снова рассмеялась, как бы показывая, что все это, конечно, одни шутки.

— Выходит, красота в муже не обязательна? — очень серьезно спросил ее Упеник. — А какой ваш мысленный идеал, Галечка?

Теперь оба посмотрели на Галю. Она некоторое время молча шлепала по лужам.

— Мой? — переспросила она, точно заглядывая в себя. — Я в первую очередь хочу, чтобы мой муж был сильный... — Упеник одобрительно кивнул. Галя мельком покосилась на него. — То есть волевой. Понимаете? Мне очень трудно объяснить, но... у меня вот в Мелитополе была подруга, которая поклялась, что муж у нее обязательно будет кудрявый и черноглазый. Я тоже, Олэкса, обожаю красоту и за уroda никогда не выйду, но... опять не знаю, как выразиться. Надо, чтобы с мужем всегда было интересно, чтобы и он понимал тебя, и ты его глубоко уважала. А то выйдешь за красивого дурака — и скучай с ним, как с иконой: так? Ну, а остальное... служебное положение и даже возраст — все это уже второстепенное. — И неожиданно закончила: — А в общем, хорошие женщины выходят за некрасивых.

Все невольно рассмеялись.

— Слушал я вас, слушал, — насмешливо заговорил Упеник, — обе вы, как монашки. Знаете, такие были до революции? Очи в иконку, а сердце к миленку. Обождите, не перебивайте, оправдываться будете в милиции. Я вас понимаю. Вы имеете образование, обе комсомолки — я сам такой. Но я-то знаю вашу сестру, не с одной имел дело. Все вы притворяетесь, что завлеклись книжками, все с умниками на звезды вздыхаете... А как появится на улице молодец-молодцом, грудь колесом, щеки яблочком, растянет баян да подморгнет — тут и конец всей теории. А? Знаем. Ведь умник-то и поцеловать как следует не умеет.

И на все возражения девушек Олэкса лишь победно посмеивался, обнажая белые крепкие зубы.

Впереди показался широко растяннувшийся шестой гурт. Бычки брели привольно, иногда взбрыкивая и лишь по привычке обмахиваясь хвостами. Оводов, мух словно прибило дождем: они исчезли. Осенний день был синий, с омытым небом, на которое уже начали набегать грузные облачка, что всегда бывает после сильных дождей. В обнаженных далях впереди и сзади красными пятнами обозначались соседние гурты и арбы, перекрытые фанерой.

Важный встретил Галю обычным весело-свирепым взглядом, мотнул лобастой мордой, делая вид, что хочет боднуть, и потянулся к початке. Вычищенная темно-вишневая шерсть его уже снова отливала блеском.

* * *

В этот же вечер на подсохшем пригорке за «кошарою» по обыкновению играла гармонь, вперевой с ней хрипло квакал патефон. Парубки из соседних гуртов выбивали каблуками затейливые переборы, дивчата задорно поводили плечами, а потом какая-нибудь пара вдруг исчезала, и в темной степи слышался тихий и загадочный смех. Упеник угощал всех яблоками, лихо прошелся «казачка». Тут же, держась за руки, стояли Галя Озаренко и Паня Мелешко. Девушки не танцевали.

А затем все трое одновременно ушли. За темным кустом дикого шиповника, невдалеке от дороги, Паня с усмешкой огляделась:

— Ну, давайте. Никого.

В темном небе блистали яркие звезды, из-под широкого лопуха вылетела какая-то птичка. Упеник обнял Галю, закинул ее голову. От долгого поцелуя у нее захватило дыхание. Совсем близко над собою она видела два глаза — огромных, рысьих, заслонивших мир. Стало страшно. Галя рванулась, опьянение прошло.

— Вот теперь задолженность списана, — хрипло сказал Упеник.

Галя неестественно засмеялась, быстро, легко передохла и стала оправлять волосы.

Неожиданно на дороге, за кустом шиповника, слышалось покашливание, шаги, и они заметили темную фигуру. Кто-то проходил, чуть не задевая ветки.

— Ой, кто это? — шопотом спросила Галя подругу.

— Веревкин.

— Он видел?

— Не знаю.

Девушки тихо засмеялись и побежали во тьму. Упеник подтянул голенища сапог и вразвалочку последовал за ними. Чтобы не столкнуться с начальником колонны, забрал левее.

Веревкин прошел, опустив голову. Он все видел.

XII

Осень, южная осень. В степи стоит та особенная тишина, какой не бывает летом. Не слышно цвирканья кузнечиков, треска медведок, не пересвистываются суслики у нор. Золотистые шурки, ласточки, скворцы, малиновки давно улетели за теплое синее море, в страны, где всегда много живой пищи. Пусто и звонко вокруг, высоко синее холодное ясное небо. Трава побурела, полегла, и только у опушки рощицы еще белеют соцветия дикого хрена да одиноко стоит голубой цикорий. В прозрачном воздухе плавают радужные нити с крошечными белыми паучками, а на желто-багряные кусты терна, боярышника, на бледноцветущую полынь налипли ватные сгустки паутины: последние следы бабьего лета. Вот студено пахнуло ветром, далеко по дороге вдруг завихрились два огромных черных столба и, заслонив блеклое солнце, точно сказочные великаны, зашагали через степь, неся слинялые птичьи перья, сухие шары перекаати-поля. Скоро прихватят и заморозки.

Гурты шли на Волноваху. Покачиваясь в седле, Веревкин думал о том, что Галя теперь для него окончательно потеряна. (Озаренко сейчас в колонне не было: Кулибаба послал ее в придорожный район за инструментом для зооаптечки. Кстати, она и поехала вместе с Упеником, который должен получить для табора печеный хлеб и продукты.) И Веревкин в сотый раз мысленно задавал себе вопрос: из каких побуждений Галя взяла тогда на хранение его ружье и мешок? Что ею руководило? Вспоминая

свою первую любовь, женитьбу, Веревкин сознавал, что сейчас он уже не тот, каким был восемь лет назад. Он уже лучше умел владеть собой, скрывать свои чувства. Ему казалось смешным в теперешнем его возрасте открыто ухаживать за девушкой, — тем более, что она относилась к нему с явной антипатией. Эту свою любовь он привык считать неудачной, скрывал ее. Может, в этом стыдно признаваться, но ответное чувство Гали было бы сейчас ему желанней, чем в свое время любовь жены. Чем это объяснить? Тем, что тогда он был моложе, эгоистичней и самоувереннее, или тем, что, может быть, люди по-настоящему начинают дорожить любовью только в зрелые годы, как должно быть, только в зрелые годы приходит сознание ценности жизни — величайшего дара природы?

Громкий топот копыт заставил Веревкина оглянуться: десятка полтора молодых разыгравшихся коней во главе с пегой кобылкой отбились от табуна и пустились к хутору, оглашая воздух залиvistым ржанием. Двое табунщиков и Омелько Лобань, который никогда не упускал случая поджигитовать, поскакали им вдогонку. В монотонной жизни табора это было развлечением. Вот табунщики — отсюда они казались теперь очень маленькими — отрезали весь косячок от хутора возле самых токов, километра за четыре от шляха, завернули его и уже погнали обратно. Откуда ни возьмись, из облака вынырнула большая оса. Она все росла, злилась, гудела сильнее, и, наконец, херсонцы разглядели черный самолет.

Табунщики вдруг бросили косячок и, распластавшись на своих лошадях, точно желая вжаться в ковыли, понеслись обратно к гуртам. Самолет резко снизился, пошел на бреющем, и до херсонцев донеслась далекая, но отчетливая очередь пулемета.

— Немец! — истошно вскрикнула какая-то баба.

— Ой, головушки наши бедные!

— Пропали!

В колонне началась паника. Это был первый немецкий самолет, который херсонцы увидели в такой грозной близости. Заметались доярки, заплакали дети, гонщики зачем-то стали остервенело стегать скот, словно надеялись ускакать от самолета. Затрещали ребра арб, колеса, дышла. Овчарки подняли вой; коровы заревели

как-то по-особенному утробно; волю, с налившимися кровью глазами, старались высвободить шею из ярма; возбужденное состояние людей легко передается животным. Некоторые женщины полезли под возы, и одну чуть не переехало колесом.

— Стойте, курицы бескрылые, — зыкал на доярок Маруда; он так побагровел, что пропали веснушки. — Чего панику разводите? А ну, смирно! Немец-то один, гляньте. Да у него, видать, и фугасов нету, давно бы кинул. Разведчик, небось, какой.

— Не держитесь скопом! — кричал и Веревкин, крутясь на тяжелом мерине, грозя кому-то плетью. — Расспайтесь по степи — побьет пулеметом!

Ему было видно, как, бросив конский косяк и двух табунщиков, немецкий самолет стал гоняться за третьим. Но парень попался не трусливого десятка: он то подымал коня на дыбки, вертясь, как бес, то вдруг останавливался на скаку, точно кинутый в землю нож, то резко бросался в сторону, и черный стервятник, который, казалось, вот-вот заденет его своим белым крылом, пролетал и сыпал очередью мимо.

Может быть, это и помогло остановить панику в колонне. Люди, убедившись, что немецкий «асс» словно не замечает их, начали оборачиваться и глядеть на неравный поединок. Отовсюду слышалось: «Кто такой?», «Кто ж это?» А конник все кружил у токов, не приближаясь к гуртам, точно с умыслом оттягивая опасность на себя. Но долго так продолжаться не могло. Делая виражи, «мессершмитт» вдруг пошел в пике. Горестное «ох» пронеслось над колонной: всадник и конь с разбегу ткнулись в траву. Все было кончено. Черный самолет торжествующе сделал мертвую петлю над убитыми, взмыл в небо и исчез.

Сперва в колонне никто не шевельнулся: будто столбняк напал. Но вот пронзительно заголосила пожилая доярка, и сразу ото всех ближних гуртов народ бросился к месту происшествия.

— Може, еще жив.

— Хоть похоронить надо.

Бежали изо всех сил. И вдруг опять шарахнулись назад: «убитый» конь вскинулся на передние копыта, поднялся вместе с всадником и крупной рысью пошел на «кошару».

Это был Омелько Лобань на своем кровном дочке.

Его встретили, как героя, окружили, поздравляли. Омелько прямо с седла пожимал протянутые руки. Его сухое горбоносое лицо было немного бледно, прямой рот подергивала то ли судорога, то ли улыбка. Все словно забыли, что Омелько кривоног, мал ростом: верхом на жеребце он представлялся каким-то сказочным богатырем.

— А мы думали, ты убит! — кричали ему.

— Неужто и не раненый?

— Толково!

Омелько все улыбался.

— Шибко струхнул?

— Вишь, соловый как пузом носит: ровно мехами.

Омелько пожал плечом: конечно, мол, струхнул, да это ничего.

— Здорово ты его водил. Прямо в мыло вогнал немца. Ай да Омеля, вот это Омеля! Уж колбасник-то, небось, на тебя всю ленту попалил, а ты вон как из воды. А чего же упал-то? Конь споткнулся?

И тут Омелько Лобань впервые открыл рот:

— Не-е-е! Конь справный. Просто обманул я его. Вижу, прицепился, будто шмель, ну, значит, кончать пора. Свистнул своему «Кубарю», он и лег. Обученный он у меня по-запорожскому. Мои предки на Сечи жили...

Вокруг грохнул хохот.

— Винтовки не было, — блеснул Лобань глазами. — Я бы его снял вместе с самолетом.

И все поверили. На районных состязаниях Осоавиахима Лобань занял первое место по стрельбе и рубке лозы. И тут его обступили доярки: они все словно влюбились в Омельку и теперь уже кричали ему без обычных подтруниваний:

— Приходи нынче, Омеля. Гармониста позовем, я только тебя в кавалеры выбирать буду.

— За такого хоть сейчас замуж. Хочешь, поцелую?

— У, нужна ему корявая! Он меня возьмет.

Подъехал Веревкин. Он пожал Лобаню руку, поблагодарил за то, что отвел беду от всей колонны. Потом, когда уже гурты тронулись дальше, подумал: «Вот пригоним скот, Омельку возьмут в армию. Если его не убьют на фронте, вернется с Золотой Звездой».

Однако случай с Лобанем произвел на табор угнетающее впечатление. Люди убедились, что руки у врага длинные. Ночью женщины шикали на тех, кто закуривал: «юнкерсы» могут заметить цыгарку.

XIII

В следующие дни стало еще тревожней. Шопотом передавали, что немецкая танковая армия снова прорвала фронт, быстро движется сюда, а «юнкерсы» сильно бомбят тылы. При переходе через железную дорогу херсонцы увидели разбитый вокзал, сожженные пакгаузы, а на путях составы войск, танков, орудий, спешно направлявшихся к фронту.

Под вечер впереди показалось небольшое местечко, кирпичная труба какого-то заводика, синий лесок. И внезапно близ этого леска вспыхнула глухая винтовочная перестрелка, заговорили автоматы. Колонна остановилась, никто не знал, что происходит. Степь лежала безлюдная в закатном блеске солнца, белели ковыли, полынь у сурчины, да вдалеке темнело круглое озеро, обросшее камышом и похожее на огромный бычий глаз в ресницах.

Веревкин собрал бригадиров, членов партии, и тут же на ходу устроил короткое совещание: итти дальше или не итти? Кто знает, может, немцы выбросили десант и местечко захвачено парашютистами? Решили на ночь остановиться недалеко от озера, а вперед отрядить двух разведчиков.

— А если действительно?.. — сказал Веревкин и пыливо оглядел бригадиров.

Ответил Гаркуша, как старший по чину:

— Что же, Осип Егорыч. Какой тут может быть разговор?

— Не сдаваться ж ему тепленькими, — горячо подхватил Маруда. — Я вот этими руками хоть одного, да задущу. Всем совхозом воспитывали скот, так далеко гнали и... Да я при немце все равно для себя жизни не понимаю.

— Дружный табун волка не боится, — сказал Веревкин, и глазки его одобрительно блеснули из-под мохнатых бровей. — Притом мы уж и не такие бедные: у нас на табор семь охотничьих ружей есть... опять же топоры.

Конечно, если у него большой отряд, он нас сомнет, если же всего кучка парашютистов, то можем и отбиться, а кой-кого из фрицев отправить и в царство небесное. Словом, Илья Хомич, распорядись подтянуть ближние гурты, возы поставь кольцом, знаешь, как чумаки делали? Детей, женщин, скот — в середину. А рабочим выдай оружие и вели нести охрану.

Отпустив Гаркушу и бригадиров, Веревкин решил сделать объезд передового лагеря. Совсем стемнело, к ночи заходило. Осеннее небо небогато звездами, но светят они приметнее летних. Веревкин легко отыскал на еще румяном западе белую яркую Вегу и долго смотрел на нее.

Опять со стороны невидимого во тьме леса донеслись выстрелы. «Видать, бой», — покачал головой Осип Егорыч и дал мерину шенкеля. Впереди что-то зачернело: человек на коне — «секрет». Знакомый девичий голос негромко и тревожно произнес:

— Слышите? Самолет летит.

Это была Галя Озаренко. Вероятно, в потемках она не видела, кто подъезжает. В руках у нее Веревкин разглядел шестнадцатимиллиметровое ружье центрального боя. Он остановил буланого, прислушался.

— Действительно. Чей же это?

Низкий, густой звук моторов слышался все яснее и, казалось, повис над самой головой. Потом стал удаляться. Вдруг в черной звездной синеве один за другим появились два зловещих золотисто-белых шара. Издали они представлялись неподвижными.

— Ракеты бросает. Немец.

Самолеты затихли, а некоторое время спустя откуда-то издали стали доноситься глухие и слабые взрывы: «юнкеры» начали бомбежку. Затем вокруг надолго установилась настороженная тишина. По небу покатилась звезда, оставляя зеленый след.

— Когда я была маленькой, — вдруг, точно сбрасывая оцепенение, заговорила Галя, — мы жили у дедушки на хуторе под Мелитополем. И вот, помню, раз вечером он показал на небо и говорит: «Видишь эту звезду? Она самая яркая, зовут ее «Зорица», она хлебу зорит, как хлебу зреть, так она и взойдет». Уж после, в семилетке, я узнала ее настоящее название — Сириус. Потом дедушка показал мне «Старикову Ключку» — Орион и «Сто-

жары» и сказал, что эти звезды существуют от сотворения мира, а все остальные временные: человек народится, и звезда появится, умрет человек, упадет и его звезда. Я долго верила в эту астрономию.

Она пегромко засмеялась.

«Чего это она сегодня со мной заговорила?» — подумал Веревкин. Лица Гали ему не было видно.

Из-за камышей высунулся огромный красный месяц. Выходил он еще восточнее, чем вчера, света не давал. Веревкин спросил:

— Откуда, товарищ Озаренко, у вас эта централка?

— Ружье? Упеника. Он был назначен в караул, но я попросила часок покараулить за него. Пусть поспит, он только что с хлебом приехал. — Голос Гали вдруг зазвучал высокомерно: — А вы что спросили? Думаете, раз девушка, то и стрелять не умею? Я в женской команде нашего техникума заняла четвертое место.

Веревкин невольно улыбнулся. Галя тоже, видимо, почувствовала, что вышло слишком по-детски, и несколько сконфуженно объяснила:

— Я хотела сказать... уж я-то не убегу, буду стрелять до предпоследнего заряда.

— А последний?

Она ответила не сразу:

— Ведь и вы, наверно, Осип Егорыч, последний заряд оставите для себя? Не захотите же вы попасть к немцам в плен? — Она совсем тихо закончила: — А я женщина.

Весь этот разговор удивил Веревкина. Он и Галя Озаренко мирно беседуют? Значит, опасность действительно сближает, стала бы иначе Галя уделять ему столько внимания? Губы его покривила усмешка, он грубовато ответил:

— Вы меня романтизируете, товарищ Озаренко. Я не герой этакого... романа. Конечно, драться я буду, пока меня не оглушат по черепу, но уж в крайнем-то случае, безусловно, сдамся в плен.

— В плен?

Ему показалось, что Галя даже отстранилась от него.

— А что ж прикажете: в рай лететь? — почему-то еще больше раздражаясь, сказал Веревкин. — Во-первых, у меня крупных зарядов-то всего с полдюжины, зачем же я буду тратить на себя самый последний? А во-вторых,

я, к вашему сведению, очень люблю жизнь и... буду за нее цепляться зубами. Я ведь человек обыкновенный, скотину пасу, разных там... возвышенных порывов не понимаю.

Он тронул мерина и поехал дальше.

Ночи стояли холодные, темные, осенние; уже не трещали засыпавшие на зиму полевые сверчки, хотя Веревкин еще вчера днем на припеке видел желтую бабочку-лимонницу. Он выехал на берег озера, буланый, шурша камышом, по щетку вошел в темносияющую воду, стал пить. У его губ в воде покачивалось отражение месяца: месяц лежал на дне, словно дивный клад из червонного золота. Казалось, волны выталкивают его на поверхность.

Тихий шорох, всплеск коснулись слуха Веревкина. Он настороженно перегнулся через луку седла. Что это? Не подкрадывается ли кто? Может, и в самом деле немецкие парашютисты? Вот опять шорох: тут кто-то прячется. Веревкин спешился прямо в ледяную воду, бросил мерина и стал пробираться вдоль озера, сжимая руками берданку. Кровь стучала так, что казалось, будто в груди, в голове, в ладонях бьется огромное горячее сердце.

Месяц поднялся выше, огнисто пожелтел и оттого стал будто меньше. Небо вокруг него слегка разгорелось, мутно залиловело, но земля, метелки камыша, осока попрежнему сливались в сплошное пятно, и лишь вода то отсвечивала, то чернела. В этом месте в озеро глубоко вдавалась коса, и Веревкину почудилось, что и она как-то странно двигалась. Что же это такое? Он ступил на косу. Вдруг раздался предостерегающий крик, Веревкин вздрогнул, вскинул ружье; послышалось кряканье, гоготанье, свист крыльев, и огромная стая гусей, чирков, уток зашлепала из камышей в озеро. Фу ты, черт! А вон скользнуло несколько длинных теней: наверно, аисты или журавли. Белое пятно на середине — не лебедь ли? Да тут все озеро кишит птицей — ночной привал перелетной водоплавающей дичи. Веревкин знал, что при миграции птицы из поколения в поколение выбирают для стоянок одни и те же места и уж не сядут там, где нет хорошего корма, воды, кустов для укрытия.

Он вернулся к мерину и, облегченно посмеиваясь над собой, продолжал объезд табора.

Возы щетинились дышлами, точно вытянули длинные шеи и прислушивались к затаившейся тишине. Сонно вздыхали волы, связанные попарно налыгачом, фыркали нерасседланные кони, всюду слышался сдержанный говор. Никто не спал. Вон около караульного чернеет кучка людей, повернулись лицом к местечку, прислушиваются к редким выстрелам. Молодайка приглушенно рассказывает; по горловому с переливами голосу Веревкин узнал Христю Невенченко.

— Всего-то и прожили мы с Мыколой без году неделю. И вот как уходил в армию, поцеловал дытыну, обнял меня: «Не убивайся, Христя. Останусь жив, вернись героем. А уж если чего, то... мой батько сложил голову в бою с панями, чтоб я остался жить свободно. А я свою покладу, чтоб мой сын и ты не рабствовали. Но уж погибну не один. И в Неметчине по какому ни то Карле панихиду закажут». С тем я Мыколу только и видела.

— Ничего, вернется. И, как говорил, с орденом.

— Абы голова была целая. Как уж попрощались, вдруг он нагнулся и шопотом: «Христя. А коли без ног вернусь? Примешь?» А я ничего не вижу, глаза прямо вытекают. «Абы голова была целая». Это я ему тогда: «Кроме тебя меня кохать будет один сын, а если какой с усами подлезет, дрючком поцелую». Два письма уж прислал... Мыкола-то. Стоит в поле грудь с грудью против врага, так и написано: полевая почта...

Буланый мерин медленно прошел дальше. Веревкин поровнялся с высокой крытой арбой, за ней тоже слышался разговор:

— ...все это прекрасно, даже героично, — узнал он излишне громкий от волнения голос Марины Георгиевны, — но что могут сделать наши безоружные Маруды, деды Рынди, тетки Параски с десантом немецких автоматчиков? Ведь их перебьют, как... как воробьев, а заодно нас и бедных детей. Веревкин в роли Кутузова — это бесподобно!

— Н-да, — слышался голос самого Кулибабы.

Осип Егорыч придержал буланого, с бьющимся сердцем прислушался.

— А знаешь, — продолжала Марина Георгиевна, — Галя ведь тоже не так интеллигентна, как мы с тобой сперва решили. Нет слов, правдивая, старательная де-

вушка, но... в ней много того «бодрячества», которым, как ты говорил, пропитана вся современная молодежь. Она, например, не видит ничего ужасного в эвакуации и считает это «нормальными трудностями», представляешь? И знаешь, где она сейчас? Взяла ружье Упеника и пошла на пост... как будто женщина в самом деле может быть солдатом! Уж если нас, мирных жителей, отрезали от своих... смешно, ведь не обязательно выстраиваться под пули? Между прочим, Апоша, я, признаться, что-то мало верю в немецкие зверства: газеты всегда преувеличивают.

Кулибаба некоторое время молчал.

— Ладно, — сказал он. — Горик спит? Надо получше смотреть за вещами, может подняться паника. Ты, Мара, можешь прилечь, я подежурю.

Голоса умолкли. Веревкин чмокнул на мерина и поехал дальше.

Везде его то и дело окликали караульные. На одном участке вместо обычного пароля, тихо спросили:

— Вы?

Оказывается, Веревкин и сам не заметил, как вновь подъехал к Гале Озаренко. (А может, он именно этого и хотел?) Девушка, словно боясь, что он не остановит коня, быстро задала, видимо, заранее подготовленный вопрос:

— Скажите, вы это серьезно?

— Что? — Веревкин придержал мерина.

— А вот давеча... что в плен сдадитесь?

Месяц уже побелел и светил настолько ярко, что везде легли тени. Лицо Гали казалось призрачным, фиолетовым, глаза были затенены, куртка, надетая на теплый шерстяной свитер, сливалась в одно черное пятно с лошадьё, а рука девушки, державшая уздечку, как бы жила обособленной жизнью.

— Ах, вы все вон о чем! — засмеялся Веревкин. Почему-то ему стало легко. — Мы с вами смотрим на всщи с разных возрастных точек зрения. Для вас подвиг — красивый поступок? А для меня — терпение. Понимаете? Это пусть японские самураи делают харакири, они верят в то, что являются носителями божественного духа Бусидо, а я сын и внук хлебопашца. Для меня всякий самоубийца — это, в первую очередь, трус. Если ты уверен в своей правоте, имей мужество не бояться самых тяжелых условий борьбы. Помереть же... тут и враг поможет.

— А вы твердо верите, что мы победим?

Веревкин засмеялся еще задушевной:

— Вот тут бы я застрелился. Человек без веры — труп. Да разве вы не видите сами, как народ приготовился к борьбе? В какой другой стране возможна такая организация и в таких колоссальных масштабах? Ведь вывозится все: промышленное оборудование, институты, сельское хозяйство. Нам даны точные маршруты, по пути следования мы получаем продукты, медикаменты. А как себя ведут наши совхозники? Кто из них не знает, что каждая корова, которую мы гоним, и вон тот заводик, возле которого идет перестрелка, — все это наше, народное, добытое четверть века тому назад кровью отцов и собственной кровью. И разве они откажутся от борьбы? Пока же человек не пал духом, он непобедим.

Галя слушала, приоткрыв рот. Но, казалось, ее не столько удивила речь, сколько сам оратор, которого она точно и не узнавала. Веревкин вдруг спохватился, слегка насупился, обычным тоном проговорил:

— Вы ступайте-ка отдохните, вон кстати и смена идет.

На прощанье Галя первая подала ему руку. Веревкин поехал к табору. Скоро должно было рассветать: утки-казарки на озере уже подали голоса — покормятся и полетят дальше, на юг. «Выходит, отбой, опасность миновала?»

Действительно, в головном гурту Веревкин застал разведку. Омелько Лобань сообщил, что в местечке и на кирпичном заводе все спокойно, а это километрах в трех, у лесных овражков, немецкий самолет сбросил на парашютах диверсионную группу, но местная милиция и ополченцы их окружили, едва ли кто выскочил. Вот эту перестрелку херсонцы и слышали.

XV

Давно позади осталась Запорожская область. Потянулись каменистые донецкие степи с рудничными копрами, островерхими терриконами, похожими на черные сопки, с редкими кучками домишек без заборов. Обоз только что стал на привал. Голодную, истощенную скотину пустили на скудные выпасы. Веревкин, сидя на своем

мешке, обрывком телефонной проволоки чинил разбитый, прохудившийся сапог. К нему подъехал сумрачный Гаркуша в сопровождении Омельки Лобаня и бельмастого разведчика на заморенном коне.

— Чеботарюете? — сказал Гаркуша. Он спешился, опустил рядом на жесткую траву.

— А что такое? — поднял Веревкин лицо.

— Вот хлопцы привезли худые вести, Осип Егорыч. Есть признаки: ящюрь на дороге.

Сапог так и остался у Веревкина недочиненным. Он быстро встал:

— Откуда сведения? Видали больной скот?

Оба разведчика тоже слезли с коней. Омелько Лобань, невзрачный, кривоногий, точно это был и не он, ответил:

— Оно даже и видали. Заезжаем мы с Хведьком в село Лыньки, отсюда километров с девять, выспрашиваем водопои, выпаса добрые, а животновод колхозный и говорит: «Вы тоже у нас зачиврелый скот бросите? Гнали тут перед вами, трех коров по акту бросили». А это же «Маяк» попереду нас идет. Мы тогда разом: «Заболел, что ли?» А он, животновод: «Кто ее разберет? Не ест, морду опустил. Может, приустал, а может, и ящюрь. На отдельном базку держим».

Веревкин тревожно задумался и тут же распорядился вызвать ветеринара и ближних бригадиров. Кулибаба приехал, как всегда, подтянутый, даже сапоги были очищены от грязи и наваксены. В дороге он загорел, рыжая борода отросла, заметнее бросался в глаза высокий лоб, и весь он поздоровел и выглядел солидней.

— Что сейчас можно сделать? — сказал он. — Инкубационный период ящура длится до шести дней, и за это время диагноз поставить невозможно. Просто надо быть осторожней и осторожней, тщательнее чистить скот, не останавливаться на выпасах, где до этого стояли чужие гурты, поить только из рек, притом не затененных от солнца: в них меньше вируса. Конечно, лучше всего изменить маршрут, но ведь, небось, нельзя? Да и еще Осип Егорыч обидится: опять, скажет, ветеринар, как и в совхозе, заговорил о маршруте...

Он поднял глаза на Веревкина. За начальника ответил Маруда:

— Изменишь — вернут обратно, да еще оштрафуют. Ведь скоро конец Донбассу, и, как завсегда перед новой

областью, веткомиссия будет осматривать скот. Так что не одной нашей — всем колоннам придется править к назначенному месту.

Кулибаба мизинцем почесал бровь, стряхнул пыль с рукава прорезиненного плаща.

— А в общем, — заговорил он раздумчиво, — ожидать эпизоотии, если не ящура, то другой болезни, все равно надо было. Соблюсти зооигиену в условиях, когда через одни и те же пункты гонят сотни тысяч голов скота, почти невозможно. Впрочем, и об этом я предупреждал перед эвакуацией директора Козуба, Осипа Егорыча, — и он насмешливо поглядел на Веревкина, — но тогда меня чуть ли не в паникерстве обвинили. А теперь гурты попали в очень серьезное... боюсь, прямо безвыходное положение.

— Вы оказались правы, Аполлинаруй Константинович, — угрюмо сказал Веревкин. — Но уж в такие условия нас поставила война. Все это мы когда-нибудь запишем немцам в счет. А пока сделаем то, что в наших силах. Правительственный маршрут мы, конечно, изменить не имеем права, но и центральной трассой итти тоже не станем, а давайте свернем на проселки. Будем давать километра по четыре крюку, зато безопаснее.

Гурты потянулись дальше.

Однако итти проселками, несмотря на все усилия, не всегда удавалось. Разложит Веревкин перед собой карту области, наметит: вот этими дорогами двигаться, — а в том краю как раз начинает бомбить немец или строят линию обороны. Приходилось кидаться в противоположную сторону, — такое движение сильно изматывало гурты. Трасса действительно была заражена: разведка «Червоного Херсонца» донесла, что в большой слободе «Маяк» оставил восемнадцать голов скота с явными признаками ящура. С этого времени херсонцы ежедневно слышали: там тридцать, там сорок голов бросил шедший впереди совхоз. Гурты его таяли, как осенний снег.

XVI

Истощенный, уставший скот двигался теперь медленно. Веревкин похудел, глаза его запали, щеки обросли черной щетиной. Днем, когда стали на привал, он по обыкновению пошел проверять гурты. Коровы встречали

его тихим мычанием, телята доверчиво протягивали носы, обнюхивали. Вот любимец Веревкина темновिशневый бычок Важный, — прекрасный будет производитель. А вон рекордистка Клюква: как у всех красностепнячек, ляжки у нее бедны мускулатурой, линия поясницы понижена, зато вымя, как бурдюк с четырьмя кранами сосцов. Клюква по первотелу же стала давать двадцать восемь литров жирного молока, а коровы обычно прибавляют до третьего отела, многого еще от нее можно ждать. Вот гордость совхоза, — племенной бугай Галичанин, огромный, массивный, настоящий апис. До войны пять тысяч стоил, кандидат на золотую медаль. Веревкин знал номер тавра, выжженный на рогах каждой коровы, знал, какой вол какую траву любит, и, поглаживая то одного, то другого по широкому раздвоенному крестцу, беззвучно шептал: «Не выдам. Что бы ни случилось, не выдам». Сын воронежского крестьянина, он еще с детства привык слышать: «Корова на дворе, и харч на столе», — и знал цену скоту.

Возле «кошары», на дороге, Веревкин увидел две пароконных фуры: это Олэкса Упеник привез из придорожного села печеный хлеб и продукты. Возле переднего колеса с веселым и ожидающим видом стояла Галя Озаренко; за повод она держала свою рыжую заседланную кобылку. Фуры, как всегда, окружили доярки, щупали мешки, звонко, со смехом спрашивали:

— Чем угостишь, Олэксынька?

— Конфетов нам не выдали?

— А ухажоров?

Наклонясь над грядущкой, Упеник с загадочным видом рылся в фуре. Белокурые волосы его были красиво подстрижены, кожа на только что подбритых висках подчеркнута выделялась своей белизной от густо загорелых щек и лба, и это делало его открытое, гладкое лицо как-то самоувереннее, свежее. Он был в новой кожаной куртке на молнии, с меховым воротником, в широких брюках, низко спущенных на подвернутые опойковые сапоги. Вот Олэкса повернулся к Гале и протянул пятигранный шелковый футляр с золотыми кистями. Глаза у девушки заблестели, она открыла его, и доярки, обступившие их, заахали. Здесь были и духи в изящном флаконе, и прекрасная пудреница, и туалетное мыло: целый набор.

— Нравится? — спросил Упеник. Он стоял, заложив руки назад, и улыбался.

Галя только радостно взглянула на него, откинула со лба прядь и продолжала рассматривать футляр.

— В таком случае, — небрежно продолжал Упеник, — оставьте его у себя.

— Оставить? Но у меня сейчас нет таких денег.

— А и не надо. Это подарок. Специально для вас купил в Старо-Бешеве на базаре, одна дамочка продавала. Наверно, эвакуированная с Киева или с Одессы.

Галя зарделась.

— Подарки делают только родственникам да... невестам. Спасибо, нате.

Она протянула ему набор.

— А может, и я на вас жениться собираюсь? — сказал Упеник, попрежнему держа руки за спиной и усмехаясь. — Знаете поговорку: кого люблю, тому и дарю. Мне понравились ваши поцелуи. Очень сладко. Еще хочу.

Доярки захихикали. Галя стала пунцовой. Только самообладание помогло ей ответить более или менее спокойно:

— Во-первых, не поцелуи, а поцелуй. Один. Вы, Олэкса, плохо знаете арифметику. Или это особенная, свойственная лишь «торговой сеточке»? И тот за пари. А во-вторых, при этом был свидетель — Паня Мелешко. Так что в следующий раз выражайтесь точнее.

По лицу Упеника скользнуло беспокойство, он пылливо посмотрел на девушку:

— Винюсь, Галечка. Обсчитался на целковый и возвращаю вам сдачу. Ваше замечание совершенно правильное: поцеловал я вас только за пари. Теперь в точности? Пересчитайте.

Галя невольно засмеялась и опять протянула футляр, но Олэкса попятился от него, говоря, что не возьмет обратно, потом рассчитаются.

Веревкин стал выбираться из стада. Вспомнились таборные слухи, что Упеник сейчас шибко наживаетея на снабжении колонны. Зоотехник сжал челюсти: сколько вор ни ворует, а тюрьмы не минует.

Наконец случилось то, чего все со страхом ожидали,— совсем недалеко от Ростовской области Гаркуша разыскал Веревкина, конь его был в мыле.

— Ну, Осип Егорыч, пришла беда, отворяй ворота: ящурь в одиннадцатом. Медицина наша с утра там орудует.

...Когда они вдвоем подъехали к гурту, Кулибаба и Галя Озаренко, оба в халатах, уже кончали осмотр. Галя еле кивнула на приветствие Веревкина, вид у нее был утомленный, надутый. Веревкин спешил, присоединился к ветеринарам. Предметом их внимания сейчас была комолая нетель Хвыля. Почти рыжая, в белых чулках, она стояла, опустив голову, растопырив копыта, словно для того, чтобы лучше держаться на ногах. Шерсть Хвыли была взъерошена, глаза мутные, изо рта нитью свисала пенная слюна.

— Откройте нетели рот,— приказал Кулибаба.

Гонщик открыл. Все десна Хвыли обметали пузырьки нарывов, некоторые лопнули, образовав неглубокие, сильно мокнущие язвы.

— И у этой болезнь уже перешла во вторую стадию,— определил Кулибаба, распрямляясь.— Сейчас смерим температуру... да, вероятно, выше сорока. Теперь эта... как ее звать, Хвыля? Теперь Хвыля сама является вирусоносителем. Вы ее, товарищ Гаркуша, немедленно изолируйте от гурта вместе с остальными семнадцатью заразными. Надо помнить, что ящур передается с поразительной быстротой.

Он помыл руки двухпроцентным раствором формалина. Вытирая их полотенцем, обернулся к Веревкину, произнес с довольным видом хорошо поработавшего человека:

— Как говорится: провернули осмотр. Устали анафемски. Молодец Озаренко, работник она очень способный, только вот язычок, все тут со мной пререкалась... Знаете, Осип Егорыч, очень удачно, что мы захватили ящур, так сказать, в эмбриональном состоянии. Когда вырвемся из очага заражения, то потеряем не более десяти — пятнадцати процентов рогатого скота.

Галя рывками недовольно снимала халат. Вдруг она громко и упрямо сказала:

— А я все-таки настаиваю. Ведь один раз мы Важного вылечили? Почему же мы не можем вылечить Хвылю и с ней все семнадцать голов?

— Да поймите, наконец, — раздраженно ответил Кулибаба: видно, ему уже надоел этот спор, — вы же прекрасно знаете, товарищ Оза... э-э-э, Галя, что тогда у Важного было обыкновенное травматическое повреждение. Каюсь, я просто хотел от него избавиться. А у этой злополучной Хвыли инфекционное заболевание. Она является прямой угрозой для всех гуртов. Вы же сами ветфельдшер, неужели... вот уж действительно, иная простота хуже воровства!

Галя вспыхнула, небольшие глаза ее прищурились, нижняя губа выдалась вперед, и она ответила с высокомерием, какого еще никогда не позволяла себе по отношению к начальнику:

— Я, кроме своей профессии, товарищ Кулибаба, еще и полноправный советский гражданин и прошу оставить ваши бестактные пословицы... Может, вы мне запретите высказываться в совхозе, где я работаю? А если я хочу взять шефство над Хвылей и всеми ящурными? Вы не хотите гнать больной скот? Хорошо. Не надо. Но оставьте и меня с ним, я вас сама потом нагоню. Ведь так можно, товарищ Веревкин?

И неожиданно глаза ее заморгали: вот-вот из них брызнут слезы. Кулибаба нервно снял пенсне и стал вытирать носовым платком. Осип Егорыч угрюмо сказал:

— А откуда вы взяли, товарищ Озаренко, что мы оставляем здесь скот? — Он повернулся к ветеринару. — Я, Аполлинаруй Константинович, того же мнения. Лучше нам ящурных выделить в особую группу, прикрепить к ним людей и держать отдельно. Пятнадцать процентов скота — это почти четыреста голов, и я... я просто не имею права списать столько по акту.

Галя живо и с надеждой подняла на Веревкина мокрые глаза. Кулибаба, пристраивавший к носу пенсне, уронил его и едва успел подхватить. Некоторое время он не мог ничего сказать и лишь растерянно моргал.

— Бросать скот, — продолжал Веревкин, — это значит поддаться панике. А чем же мы тогда станем снабжать армию? Да, наконец, коровы нам потребуются и для восстановления животноводства после войны. Нет спору, трудности огромны, а разве они легче на фронте?

В общем поступать так, как «Маяк», я категорически не согласен.

— Зато «Маяк» сохранил основной костяк скота, — еще раздраженной заговорил Кулибаба. — Ну, а если у нас завтра окажется еще пятьдесят голов больных, а потом еще пятьдесят, и еще, что вы сделаете? Будете пережидать, пока все гурты постепенно переболеют и выздоровеют? Этак мы проторчим на одном месте два, а то и три месяца, тем же временем здесь, не дай бог, очутятся немцы, и тогда пропадут все наши гурты, да и мы с ними вместе.

— В таком случае, — глухо проговорил Веревкин, — я стану в карантин и произведу искусственное заражение всего скота.

По толпе гонщиков и доярок прошло сильное и молчаливое движение, а Галя Озаренко радостно придвинулась к Веревкину, точно хотела его поддержать.

— Да вы что, Осип Егорыч, — заговорил Кулибаба чуть не с испугом. — Хотите добровольно поставить под угрозу все две тысячи с половиной голов? Да вы знаете, что искусственное заражение производится только в самых крайних случаях и то с разрешения областного ветуправления? Правда, оно может сократить срок карантина до трех недель, но оно же может и во много раз увеличить падеж, ибо прививка вируса так же опасна, как и сама болезнь. А затем, где запас муки, чтобы кормить скот? Ведь при ящуре он ни травы, ни вообще грубых кормов есть не может. И, если уж на то пошло, вспомните, что у нас нет даже резиновых сапог для ухаживания за скотом. Вы хотите, чтобы и люди стали болеть ящуром? Не-ет. Это... это вредительством пахнет. Я снимаю с себя всякую ответственность. Отвечайте сами, а я умываю руки.

— А я и не прошу вас, — взглянув Кулибабе прямо в глаза, резко сказал Веревкин. — За свои поступки я сам привык отвечать. И вообще я давно знаю, что вы... вы... — он некоторое время подбирал выражение и, наконец, нашел то, которое долго искал: — интеллигентик.

Кулибаба слегка побледнел, скривил тонкие губы:

— А вы?

— Я? Интеллигент. Советский. Из народа.

— Ну, знаете, — дрожащим голосом сказал Кулибаба и привычно дотронулся до пенсне. — Вы слишком много

на себя берете, гражданин Веревкин. Я никому не позволю оскорблять себя. Если вы каким-то там образом... окончили институт, то и я имею высшее образование и совсем не обязан вам подчиняться. Что же касается вашей авантюры с искусственным заражением, то мы еще посмотрим, чем она окончится и... не дойдет ли здесь дело до скамьи подсудимых.

И, круто повернувшись, Кулибаба пошел к своей арбе. Стал расходиться и народ. Галя Озаренко замешкалась, собирая резиновые перчатки и зевники. Оглянувшись, она взволнованно проговорила:

— Осип Егорыч! Если я вам буду полезна... рассчитывайте на меня. Ладно?

Он глянул на нее так, словно только что увидел.

— А у меня действительно к вам просьба, товарищ Озаренко. Я вижу, вы болеете за скот и... дело в том, что мне крайне необходимо послать верного человека в Ростов, передать письмо уполномоченному Наркомата совхозов по эвакуации. Это бывший директор нашего треста — Бодяга. Нам теперь нужна срочная помощь для скота: корма, лекарства, иначе мы действительно... Поедете?

— Да что вы меня уговариваете?— улыбнулась Галя, и в глазах ее Веревкин прочел что-то новое для себя.— Вы же начальник и можете прямо приказать, сейчас военная дисциплина.— И она несколько протяжно закончила:— Странный вы человек!

XVIII

Следующий привал надолго запомнился херсонцам. Место было невысокое, впереди ятаганом вилась река, а за мочажинами, блестящими озерец, обросших рыжей высохшей кугою, метельчатой брицей, синела на бугре большая казачья станица с двумя церквами. Ящурного скота на другой день насчитали уже до шестидесяти голов, причем в разных гуртах. Веревкин приказал становиться в карантин. Галя Озаренко, вооружившись скарификатором, приступила к искусственному заражению. До самой темноты делала она коровам и волам надрезы на верхней губе, зоосанитары смазывали их вирусной эмульсией. Лишь тогда пришел Кулибаба и молча

взялся за работу. Всем своим видом он показывал, что только выполняет распоряжение.

Сумрачно, уныло стало в таборе. Галю Озаренко и Паню Мелешко ночью отвезли на станцию Матвеев Курган. Рогатый скот слег. Здоровыми остались только овцы да лошади: они не восприимчивы к ящуру.

Хмурое встало утро; выпал иней, трава побелела, скрючилась, лужи тронулись иглами. И вот в такое-то время Козуб и двое рабочих догнали, наконец, гурты. Они приехали в середине дня на паре взмысленных коней. Едва директор слез с дрожек, как его окружил весь табор. Козуб стоял, как пастух среди стада, выделяясь мощными плечами. Брови побелели на его обгоревшем лице, огромный рот улыбался. Одет Козуб был в ту же гимнастерку, в которой провожал гурты на переправу. Со всех сторон к нему тянулись руки, летели вопросы:

— Ну, как совхоз? Хоть головешки-то осгались?

— Как там сестра моя? Успела она отступить чи немец зарубил вместе с детьми? Ой, лышенько, осталась ли хоть одна живая душа в нашей хате?

— Моего поросенка, Юхим Григорич, не видали?

— Как же вас немец не захватил, в рот ему дышло?

— Хлеба много спасли?

Перездоровавшись с ближними, директор некоторое время внимательно оглядывал взволнованных людей. Вдруг заткнул уши, зажмурился, и все постепенно смолкли.

— Вот теперь я бачу, что снова дома, в «Херсонце»: сразу всю голову проюзжали. Как те молодые поросята, что за свиньей бегают: ю-ю-ю, ю-ю-ю. Ох, аж душа улеглась на место, а то всю дорогу тилипалась где-то по-за тачанкой, все думал: живы ли мои дивчата, не позабодали ль их телята? Вы хотите знать за Рудавицы, тракторы, поросят. Добре, зараз всем отвечу. Только подавайте заявления в порядке очереди.

Некоторые засмеялись. Вот из толпы опять вырвался молодой писклявый голосок:

— А как же вы, Юхим Григорич, нас отыскиали?

— А это что?— сказал Козуб и высунул свой здоровенный язык.— Расспрашивал людей, не видали ль тут с гуртами такую гарную дивчину, что у нее нос как цыбуля?

Опять засмеялись. Козуб пытливо следил за настрое-

нием совхозников. Достал никелированную мыльницу с махоркой, закурил и уже обычным своим тоном рассказал, что произошло с ним за время разлуки:

— Вернулся я тогда с переправы, ну, думаю, хоть скот за Днипром, и пошел на Запорожье, а почти все машины — шестнадцать гусеничных тракторов, семь колесных, тридцать четыре комбайна — газуют на Никополь. Стал опять хозяйновать в Рудавицах. Косим, убираем, сдаем хлеб армии. Я им и горючего до двухсот тонн роздал по чек-требованию: «Ловите, — говорю, — и уточек, кур, жарьте на здоровье, только повоюйте, чтобы мы успели собраться». Ну... прорвался немец. Ночью вызвал меня командир части: «Тикайте, тут линия обороны пройдет». Я в спешном порядке велел снимать части с оставшихся комбайнов, сам закапывал. Стога, зерно стали жечь, а пшеница не горит, там ее столько осталось!.. Все амбары пораскрыли для рабочих: берите, пока душа не наестся. И только собрались на переправу, — налетел, трясца б его матери, девятью самолетами. Видите, в чем я одетый? Первый фугас прямо мне в квартиру. Паром на Днипру уже не работал: потопили. Нас рыбаки перекидывали лодками. Ну, а на том берегу, в Большой Лепетихе, сдал я хлопцев в военкомат, а сам с этими двумя орлами стал догонять вас.

И чем больше рассказывал директор, тем тише становилось в народе. Всю дорогу от Днепра и до Матвеева Кургана чабаны, доярки, гуртоправы с жадностью выслушивали сводки Совинформбюро: каждый ожидал, не будет ли что написано про их Рудавицы? И теперь все тяжко задумались: увидят ли они вновь совхоз, родню, что осталась бедовать под немцем? Все же с приездом Козуба у всех поднялось настроение: не может быть, чтобы такой мощный, веселый и опытный человек, как директор, не сумел все устроить к наибольшему благополучию.

В этот же вечер Веревкин передал ему свои полномочия.

— Яшур, Осип Егорыч, это, конечно, худо, — сказал ему Козуб, — но положение еще не безнадежное. Найдем выход. Завтра же с утра я побегу конями в станицу, может в райисполкоме хоть отрубями разживусь. Если Ростов еще дня два не подаст помощи, — продам

на базаре с полсотни овец и наберу муки. Не пропадать же всем гуртам? А там нехай судят. Сейчас война, какой найдешь другой выход?

В стороне стоял горбылястый Иван Рева и бубнил:

— Не кажи «гоп», пока не перескочишь. Уж загадали, как завтра жить будут. Вы сперва нынешний день переживите. Вот как зачнет худоба падать, то и останется у нас родни лапти одни. Поголодуем еще.

ХІХ

Этот день оказался счастливым для херсонцев: еще не улеглось волнение от приезда директора, как из Ростова-на-Дону вернулись Галя Озаренко и Паня Мелешко. С ними пришли пять огромных автомашин, нагруженных доверху. Девушки явились в новых стеганых ватниках, кирзовых сапогах, а пятитонки были завалены кулями с овсянкой, дегтем, бельем для совхозников, ватниками, обувью.

Козуб от избытка чувств приподнял обеих девушек, точно кукол, фальшивым голосом пропел:

Ай да дивчата, ай да комсомолки.
Браво, браво, молодцы!

— Ну и замучились мы!— оживленно рассказывала Галя Озаренко, чумазая с дороги, полусонная, но счастливая.— Туда ехали на товарной платформе с каким-то заводским оборудованием, а в Ростове трест едва нашли, столько там учреждений! Приходим к директору Бодяге. Помните его? Толстый, как вареник. А у него народу-у! И все из эвакуированных совхозов. Мы еле пробилась, думали...

— Подожди, Галка,— со смехом перебила всегда скромная Паня Мелешко.— А о «Маяке» забыла? Понимаете,— обратилась она ко всем,— мы только в кабинет, а там уже директор «Червонного Маяка». Отчитывается. Так Бодяга его и слушать не стал. «Где ваш скот,— я спрашиваю? Бомбежки? Ящур? Но себя-то спасли? А если бы вас на фронт? И там оружие бросили бы? Ступайте обратно и без скота не возвращайтесь. Под суд отдам. Под суд». Так и ушел «Маяк» с посолом...

А с нами наоборот,— опять весело и шумно вмешалась Галя.— Заполнила я анкету, Бодяга глянул и сразу ласково: «Червонный Херсонец»? Веревкин гонит? Вот это молодцы, весь скот сберегли. Доложу наркому. А что ящур... ничего не поделаешь: эпизоотия». Вот здесь-то мы с Паней и потребовали от треста помощи, и как только оформили накладную — скорее на склад и в дорогу.

Совхозники принялись за выгрузку. Гуртоправы тут же стали смазывать дегтем рты большого скота: доярки проворно замешивали овсяную болтанку для пойла: уже переболевшим коровам стали давать чуть смоченную водой муку.

Среди встречавших Галя не нашла Веревкина и, оставив подругу, пошла его отыскивать. Хотя приехал директор и отчитаться можно было перед ним, в Ростов девушек посылал Осип Егорыч, и Гале казалось, что она обязательно должна все рассказать именно ему. Ей опять захотелось видеть Веревкина, говорить с ним, как в начале знакомства в совхозе.

Разыскивая его сейчас, она увидела позади толпы Марину Георгиевну. Ветеринарша приветливо окликнула девушку, поздравила с приездом:

— Вы, милая Галечка, совсем сделались активисткой.

— Ну, что вы! Как все.

Обе улыбнулись. От Марины Георгиевны, по обыкновению, пахло духами, ее полные красивые губы были накрашены. Она, видно, озябла — на ней было синее велюровое пальто и боты.

— А не захотелось вам, Галечка, совсем остаться в Ростове? Подальше от нашего прелестного совхоза? Ах, когда же кончится эта колесная эпопея? Мы прямо как скифы. А тут еще несчастный карантин. Из-за этого скота весь народ может погибнуть. Неужели нельзя хотя бы семьи служащих и рабочих отправить вперед? Вы там не спрашивали Бодягу? Знаете, Галечка, я совершенно забыла, что такое театр, самая обыкновенная «незатемненная» электрическая лампочка. Неужели есть такие счастливы, которые спят на чистой простыне и... простите, ходят в баню? Как бы мне хотелось самой очутиться где-нибудь в Средней Азии: в древнем Самарканде или на озере Иссык-Куль. Иван Рева говорит, что мы вообще отсюда не выберемся.

— Почему?— спросила Галя.— Теперь скот должен пойти на поправку.

Марина Георгиевна рассмеялась, с хитрым видом полюбнела Галю за талию; девушка, против обыкновения, не приласкалась к ней.

— Вы, Галечка, молодец, действуйте всегда так. Эга вот поездка в Ростов, то, что вы тогда отважились... несмотря на отсутствие подготовки, приняться за прививку ящура... Теперь вас станут выдвигать как передовую комсомолку. Правда, в последнее время вы изрядно-таки повздорили с Аполлинарием Константиновичем, — Марина Георгиевна ласково и покровительственно потрепала Галю по плечу, вдруг оглянулась и шопотом продолжала:— Но он прекрасно понимает, почему, и не сердится. Наоборот, обещал мне пустить в ход свои связи и устроить вас в ветинститут... без рекомендации дирекции совхоза — и раньше, чем вы сами думаете.

Она значительно посмотрела Гале в глаза. Галя ничего не поняла, ей очень хотелось спать. Она легонько высвободилась.

— А знаете, Марина Георгиевна, я теперь уже никуда не собираюсь ехать. Как-то за эвакуацию еще больше привыкла к людям, к Важному, Хвыле... все таким близким стало. Честное комсомольское! Да и... кому же работать в «Херсонце»? Ведь всех здоровых мужчин заберут на войну. Придется, как это ни жалко, отложить учебу «до лучших времен».

Она опять улыбнулась Марине Георгиевне, кивнула на прощанье. Губы Марины Георгиевны слащаво съжились, но лицо стало холодным, и руки она не подала. Галя пошла дальше. В задних рядах толпы она разглядела Кулибабу. Держался Кулибаба молчаливо, обособленно, ее не заметил; чтобы не здороваться, Галя поторопилась обойти его.

От бессонницы Галю пошатывало, она боялась, что свалится в первую попавшуюся канаву, но отчего-то было очень весело и все вокруг казалось милым и славным. Под ногами гулко стучал ледок колдобин.

И здесь она столкнулась с Веревкиным. Прослышав о помощи треста, он поспешил приехать от овечьих отар. Галя с неподдельной радостью и в то же время с каким-то странным замиранием сердца поздоровалась с ним, рассказала о результате поездки.

— У Бодяги в кабинете,— с увлечением продолжала она,— сидел главный ветврач всего южного главка. Из Москвы прикомандирован. И он тоже похвалил вас, Осип Егорыч, что не побоялись сделать прививку всему скоту: переболеет, говорит, и тогда с чистой совестью погоните дальше. Прямо вслух и похвалил.

— Спасибо,— сказал Веревкин. Улыбка приподняла его усы, он смутился и словно помолодел.

И тогда Галя как бы впервые увидела его глаза, обычно спрятанные под хмурыми бровями: они были какие-то медвежьи и очень простодушные.

— Осип Егорыч,— со свойственной ей порывистостью сказала она,— а я ведь раньше считала вас совсем не таким человеком, каким... каким вы оказались.

— Гм!..

— Сперва, еще в совхозе... помните на майском вечере? Вы мне показались самонадеянным, грубым... человеком, который считается только со своим мнением. Несправедливым казалось и ваше отношение к Аполлинару Константиновичу. Ну... а теперь, когда вместе стали гнать гурты и... словом, я считаю, что ошибалась, и очень рада признаться в этом.

Чумазое лицо Гали покраснелось, глаза блеснули. И вдруг она расхохоталась,— искренне, без всякой наигранности. У Веревкина мелькнула нелепая мысль: а что если сейчас вот сказать Гале, что и она ему тоже очень дорога? Взять да и сказать?.. Нет. Не такое сейчас время.

XX

Через две недели весь рогатый скот поднялся, начал щипать траву, а телята-отъемыши заиграли, словно и не были больны. Гонщики, доярки почистили похудевших коров. Карантин сняли. Гурты снова потянулись вперед на Сиротинск — городок на берегу Дона, где была переправа. От ящура погибло одиннадцать голов: правда, как всегда, от этой болезни значительно больше пострадал молодняк. Трупы сожгли, и за таборной стоянкой вырос невысокий скотомогильник, обнесенный валом.

В районе Ростова шли бои. «Червонному Херсонцу» переменили маршрут: гурты свернули в сталинградские

степи. Октябрьским вечером колонна уперлась в неширокую степную речонку и решила стать на ночлег, чтобы уже с утра начать переправу: обессиленный болезнью и худокормицей скот теперь продвигался совсем медленно. Голо было вокруг, дико. Гонщики напоили скотину, взяли сена из двух придорожных стогов; поужинали пресным молоком, скудными остатками лепешек и начали укладываться.

Спать в арбе Осип Егорыч не любил. Он вынул из мешка свое кожаное меховое пальто (вот когда оно пригодилось!), надел его, привалился к стогу, словно к подушке, закрыл глаза. Ночью от грязи немилосердно чесалось тело, по лицу пробегали мыши, он ежился, ворочался. Под утро проснулся от знобящего холода: валил снег. Веревкин протер глаза и вскочил,— все вокруг было бело. Крупные мокрые хлопья покрыли закостеневшую землю, бурьяны, стога, табор. Веревкин сделал два шага и споткнулся о засыпанного и промерзшего телка. За возами сбились в кучу, тревожно храпели кони, и тут до слуха Осипа Егорыча явственно донесся глухой, низкий и протяжный вой, от которого у него невольно пробежали мурашки по телу: к табору подошли волки. Зоотехник поспешно достал из своей арбы ружье, подкрался к табуну: за сеткой падающего снега совсем близко ему почудились два красных огонька. Он выстрелил из обоих стволов.

Вой оборвался.

Этот выстрел пробудил табор. Гонщики и доярки стали подыматься, разминать закостевшие члены. Взяв скребницы, пеньковые бичи и подойники, они разбредались по работам. Замычала скотина, прося пойла.

К утру снег перестал, и далеко на краю мглистого неба проступила желтая заря. Надо было трогаться в путь: а как переправляться через речку? Вместо деревянного моста из воды торчали одни стояны, в подсохшей куге не виднелось ни плота, ни баркаса, и неизвестно, сколько километров оставалось до ближнего хутора, где бы могли оказать помощь.

Директор с командирами подошли к берегу. Козуб прозяб и кутался в байковое одеяло (ни одна стеганка, ни один кожух не лезли на его могучие плечи). От неширокой речонки дыхнуло таким холодом, что все невольно поежились. Некоторое время стояли молча.

— Что же, надо начинать переправу, — решительно объявил Козуб. — Отыщем брод.

Веревкин хмуро сказал:

— Молодняк загубим. Перепростудится.

— Да, — сдержано подтвердил Кулибаба. — Телята, да и коровы промокнут, затем обмерзнут, и геморрагическая септицемия¹ им обеспечена.

— Как же быть?

К берегу подходили совхозники. Горбылястый Иван Рева подытожил:

— Сзади мор жнет, спереди смерть ждет.

И не у одной доярки мелькнула мысль: забрались куда-то, в самую глушь степей, выбились из сил, а теперь по зиме — пропадем.

Галя Озаренко громко сказала:

— Я двух вчерашних подсосных телят сама перенесу. Вот только бы знать, где помельче.

Все поглядели на нее.

— Что ж, — весело подмигнул Козуб, — видать, придется и в самом деле молодых послушать? Нагрузимся, как те ишаки, и помагайга, Миколаи-угодники, не замочить исподники.

Он отдал распоряжение искать брод. Веревкин пошел седлать буланого. К Гале, весело блестя глазами, подошел Олэкса Упеник в своей кожаной меховой куртке с шалевым воротником, розовый от утреннего холода.

— Что, Галечка, задумали покупаться?

— Придется, — засмеялась она.

— Самый сезон. Можно прилично закалиться — и прямо на тот свет.

— Вы вот лучше отыщите мне брод помельче.

— Сколько угодно.

И, не дожидаясь, когда разведка заседлает коней и начнет прощупывать дно, Упеник легко и уверенно, будто к себе в магазин, вступил в речку, шумя волной, побрел к противоположному берегу. Доярки испуганно и восхищенно вскрикнули, у Гали заблестели глаза. Она засмеялась и оглянулась вокруг, словно приглашая и других оценить молодечество Упеника. Мелкая рябь скрыла его до пояса, но Олэкса не замедлял шага, подняв руки и держа локти почти на уровне плеч, как это делают иду-

¹ Воспаление легких.

щие по воде. Вот он уже миновал середину реки, вода стала спадать, показались голенища его подвернутых сапог. Немного не дойдя до противоположного берега, Упеник, — как это бывает с пловцами, которые хотят перед кем-то похвастать своей выносливостью и только дотрагиваются до берега рукой, — завернул обратно.

Когда он вышел, шурша потемневшими брюками и оставляя на берегу мокрые следы, его тесно обступили. Гале это напомнило Днепр, когда Олэкса вернулся от переправщика. Сейчас, показывая ей в улыбке свои белые ровные зубы, он весело сказал:

— Можете, Галечка, переносить своих подшефных организмов!

— Давайте вместе, — улыбнулась она.

— Э, нет, атанде. Мое дело было открыть трассу, а уж рейсы... это пускай вкальвают другие энтузиасты. Да и скажу вам, Галечка, по секрету: вода мокрая, ей-богу, не брешу. Надо переодеться.

И, смеясь, он пошел к своей фуре.

От возов на буланом подъехал Веревкин и тоже спустился в речку. К нему скоро присоединились Омелько Лобань и еще два верховых разведчика. Они начали шестами исследовать глубину и скоро обнаружили три ямы, возле которых и воткнули жердины.

Началась переправа.

Мелководная речонка запестрела скотом, огласилась звонкими голосами, аханьем влезших в ледяную воду доярок, коровьим мычанием. Гонщики, чабаны, даже ночные сторожа, прямо в сапогах и одежде, переносили брыкавшихся телков. Среди них, смеясь, брели Галя и Паня Мелешко. Скрипя колесами, на брод потянулись и упряжные волы. Одной из первых переехала речку арба Кулибабы: из фанерной будки оживленно выглядывал Горик с палкой в руке, воображая, что он ловит рыбу; сзади его придерживала Марина Георгиевна. Лицо ее выражало брезгливость и тревогу: видно, опасалась, как бы не залило арбу. Сбоку верхом ехал на коне ветеринар.

Почти следом на своих «торговских» в речку влетел переодетый в сухое Упеник. «Берегись, пехота!» — покрикивал он. Стоя во весь рост в фуре, Упеник одной рукой правил, другой размахивал кнутом. Кони обдали брызгами ближних доярок, одна шарахнулась и чуть не

упала вместе с телком, и долго потом они с хохотом грозили вслед ему кулаками, а Олэкса оглядывался и смеялся.

На другом берегу Осип Егорыч послал ребятишек собирать овечьи кизяки, курай и велел разложить костры. К полудню мокрый снег начал таять, превратился в грязную ледяную кашу, отсыревшая «топка» едко дымила. Все же к слабым огонькам начали подгонять скот, чтобы он обсох,— грелись и сами совхозники: растирали ноги, отдыхали.

К Веревкину подошла Христя Невенченко и сообщила, что случилось лихо: пропала тетка Параска с коровой Лыской.

— Как это пропала?

— А я почему знаю. Вчера стали мы ужинать, тетки нет. Подумали: иль у директора, а то в девятый пошла в гости к сродственникам. Только глядим: и не ночевала, после с гуртов передают — и там не видали. Заразом и Лыски не досчитались. Порешили доложить вам.

Отпустив доярку, Веревкин разыскал директора и передал ему этот разговор. Что могло случиться с теткой Параской? Неужели решила вернуться домой, в Херсонщину, и погнала с собой лучшую в стаде корову? Или отбилась и ее задрали волки? Но можно ли заблудиться среди бела дня, когда по шляху тянется огромная колонна? Уж не бандиты ли какие-нибудь напали на нее?

— Надо организовать поиски, — приказал директор.

И Веревкин вызвался поехать сам.

Вскоре он и Маруда поскакали обратно по дороге к хутору, на котором стояли прошлую ночь. Табор скрылся позади за изволоком. Вокруг, куда ни глянешь, лежала бурая голая степь в белых заплатах нерастаившего снега. Остался позади и сухой приречный ерик, заросший по дну железными кустами дикого терна. Рано смерклось. Затянутое тучами небо будто касалось дальнего кургана. Глухо цокали копыта, комьями летела мокрая грязь. За плечами зоотехника и бригадира подпрыгивали ружья, взятые на случай встречи с волками.

Проехали уже половину вчерашнего пути. Оба молчали. За все время ни одна живая душа не попалась навстречу, некого было порасспросить, да и едва ли казаки могли в такую пору находиться в степи. Только в суме-

речном небе медленно кружили два сытых беркута: хищники всегда сопровождают переселяющихся на юг птиц и очень много бьют их в пути. Стемнело, трудно стало различать дорогу.

— Часа, почитай, три бежим, — сказал Маруда.

— Ничего. Доедем до хутора, а уж там... Может, она заболела?

— Все может стать. Да теперь недалеко.

Начался долгий спуск в глухую, ярistou балочку, с почерневшим голубцом над одинокой осевшей могилкой. Не сделали всадники и ста метров, как со дна, из темноты, раздалось мычание коровы и тревожный голос окликнул:

— Кто такие?

— Тетка Параска? — громко спросил Маруда.

— Чи это не бригадир?

— Жива, сорока? А мы уж думали, одно перо найдем.

Веревкин нажал кнопку электрического фонарика. В голубоватом луче света он увидел измученное, опавшее лицо тетки Параски. В руках доярка держала маленького сосунка с белой залысинкой. а из-за ее плеча выглядывали комолые рога, блестящи выпуклый глаз на квадратной морде.

— Лыска отелилась? — почти в голос воскликнули и зоотехник и бригадир.

— Бычишка, — радостно и устало улыбнулась тетка Параска.

— Ну-у? Значит, нашего полку прибыло, — подмигнул Маруда.

— Что корова? Может итти? — спросил Веревкин.

— Добредет.

— Так это ты, тетка, из-за нее прогул сделала?

— А из-за кого же, — подтвердила тетка Параска. — Из-за Лыски, все из-за нее, матушки. Еще вчера с вечера гляжу: ревет да ревет нутром. И все отбивается от стада, все в сторону жмет. «Ну, думаю, как бы не спросталась моя ясочка до привалу». Прямо будто на картах раскинула. Только почистила я фляги, гляжу — нету моей Лыски. Я ну искать: туда, сюда. А она отвернула в самую степь, в бурьяны, и уже переминается. Что тут поделаешь? Стала я принимать. Только схватки у нее затянулись, табор тем часом вперед ушел. К ночи лишь отелилась моя ударница. Я уж скорей бычишку

на руки, да назад в хутор: как бы, думаю, волки в степу не задрали. А нынче жду вас, пожду, — нету. Не оставаться ж в чужих людях? Вот и тронулась помаленьку, да заморилась. Бычишка чисто все руки оттянул. Километров, поди, двенадцать со вчерашнего дня его таскаю. А поглядите, какой мастистый да лысенький!

И доброе измученное лицо ее вновь осветилось улыбкой.

Веревкин и Маруда переглянулись.

— Вот что, Прасковья Семеновна, — сказал зоотехник, слезая с буланого, — садись на моего мерина, а телочка передай Маруде. Давай, давай, разговаривать потом будем. И не беспокойся обо мне, дойду, не маленький. Я вот с Лыской давно не видался.

Он спрятал в усах улыбку и удержал за колено Маруду, хотевшего было отдать ему своего коня: куда итти хромому в такую распутицу!

Маленькая группа двинулась по дороге к табору.

XXI

Многое еще пришлось перенести гуртам «Червонного Херсонца». От истощения сил, худокормицы пало еще несколько десятков голов скота. Насиделись без хлеба и херсонцы. И вот всего этого, видимо, и не выдержал Кулибаба: ночью, когда переходили железную дорогу, он вместе с семьей, забрав все свое имущество, тайком сел в товарный поезд.

К одиннадцатому ноября до зерносовхоза «Задонский», где херсонцы должны были провести все время эвакуации, оставался один перегон. Люди умылись, почистились, мужчины побрились, некоторые надели выходные костюмы.

— Чтобы, — как за всех пояснил Маруда, — казаки из «Задонского» имели о своей братской Украине не кривое мнение. Чай, не с пустыми руками пришли...

Последние километры «Червонный Херсонец» выступал в полном порядке. Впереди Омелько Лобань вез неразвернутое, малиновое в золоте, знамя наркомата. За ним везли ящик с документами и деньгами, ехали командиры: директор, Веревкин, главный бухгалтер, младший зоотехник и Галя Озаренко, временно заме-

няющая ветеринарного врача. Все были верхами, один Козуб трясся в тачанке: у него на любом коне волочились ноги.

На некотором отдалении за ними следовали гурты.

Синий ноябрьский день выдался на редкость теплым и тихим: казалось, после холодов, короткого снегопада, вновь вернулось лето. Степь густо и молодо зеленела: щетинилась озимь. Когда проезжали неглубокий овражек, поросший редким полуголым дубняком, с черными опавшими жолудями, Веревкин увидел зайца-листопадника, совсем еще серого, даже лапки и брюшко у него не побелели, — наверно, последнего помета. Почти из-под самых копыт буланого мерина в ржавую полегшую траву выпрыгнула лягушка. Вернувшееся тепло, красный погожий день всех обманул: в солнечном воздухе даже вились безобидные комары-толкунчики, летали мухи. Прощальная дремотная тишина обволакивала поля.

У херсонцев разговор в этот день был особенно оживленным: хорошо ли примут задонцы, каково-то сложится новая жизнь? Все знали, что скоро наступит расставанье: кто останется работать, а кто уйдет в армию, и каждый гадал, что его ожидает.

— Мое дело темное, — беседовал Козуб со своими командирами. — В тресте, может, назначат меня директором этого же «Задонского», если теперешний подходит под призыв, либо дадут новый совхоз. В Москву на Коллегию с отчетом об эвакуации едва ли придется ехать: наверно, и так утвердят. Скота мы потеряли всего восемь процентов, зато богато прибавилось молодняка: ведь на август — октябрь падает самый большой отел... Вот и выходит мне сразу же — в упряжку: гнать фронту побольше мяса, пшеницы, масла и других продуктов. А вы, хлопцы, на худой конец, останетесь здесь с Осипом Егорычем. Ему бронь по его специальности обеспечена.

Веревкин усмехнулся и отрицательно качнул головой.

— Что? Сомневаешься, не дадут?

— Я не про то. Мы уже решили с Лобанем: оба в армию. Он в кавалерию, а я хочу в бронетанковые. Такая «бронь» для меня удобней. В тылу и женщины справятся.

Он кивнул на Галю, что ехала рядом с ним на рыжей кобылке. Галя раздурманилась, держалась с обычной горделивостью, много и громко смеялась. Она была в стеганом ватнике, обтрепавшиеся лыжные брюки застегнула поверх сапог.

— А вам очень хочется на фронт? — тихо спросила она Веревкина.

Он с некоторым удивлением взглянул ей в глаза.

— Хочется? Не то слово. Надо. Я должен итти туда, где сейчас всего нужнее. Как же иначе я смогу смотреть в глаза людям?

— А мне, — вздохнула Галя, — теперь работать да работать. Откуда взять ветврача на место Кулибабы? Придется взяться за учебники.

От головного гурта на своем игреневои дончаке подсакал Олэкса Упеник. Одет он был с подчеркнутой щеголеватостью. С Веревкиным еле поздоровался.

— Скоро и конец пути, — весело заглянув в Галино лицо, начал Упеник. — Всем уж надоела эта «степь да степь кругом, путь далек лежит». Пора шабашить.

— Пора, — засмеялась и Галя, тряхнув волосами. — Три с лишним месяца идеи, полторы тысячи километров сделали, в пятую область вступили.

— Скоро, может, придется расстаться, — продолжал Упеник и поглядел значительно. — Вот достигнем «Задонского», и наша комиссия будет кончена. Женщины и разные инвалиды останутся в совхозе, а мы... на фронт. Бутылочку с горючим в руки — и хочешь, в танк бросай, хочешь, от комарей мажься.

— А может, вас еще в тылу оставят?

— Это уж от будущего директора зависит. Если не будет слушать поклепы разных паразитов, будто я нагрел руки на снабжении гуртов... ну, да мы и на фронте не растеряемся! Опытные снабженцы в интендантстве тоже нужны. Знаете, Галечка, всякое дело — это... патрон. Надо не бояться его разрядить — и порох у вас в ручке. А в общем, у меня сейчас не об этом забота. Можно вас на два слова в сторонку?

Галя тут же повернула кобылу с дороги. Упеник положил ей руку на колено, вызывающе посмотрел на Веревкина. Когда они отстали, девушка спросила:

— Какой же, Олэкса, вы хотите сообщить мне секрет?

— Совсем напротив. Я желаю, чтобы наш общий с вами секрет открылся всем... всему совхозу.

— Наш общий? — сказала Галя протяжно и с удивлением.

— А вы не догадываетесь?

— Нет, — она слегка покраснела и стала расправлять гриву у кобылки.

— Так и ничуть? — Упеник старался поймать ее взгляд. Он ехал так близко, что ногой касался галиной ноги. — А по-моему, вам должно быть ясно кое-что еще с Рудавиц. Да и тут, в дороге.

Его глаза почему-то опять напомнили Гале глаза рыси. Кровь прилила к ее вискам.

— В общем сокращаюсь: надоело мне быть идейным холостяком. Экономическое положение мое обеспечено: имею сберкнижку на четыре тысячи монет. Женюсь.

Легкая улыбка тронула губы девушки, но слушала она с удовольствием. Спросила с каким-то вызовом:

— На ком?

— На вас. Вы мне глубоко нравитесь, ну и... в чем дело? Как писали в прошлых романах: предлагаю вам сердце.

Холодный солнечный ветерок обдувал лицо девушки. Она спокойно посмотрела на Упеника и негромко, как бы взвешивая слова, ответила:

— Да, вы мне нравитесь, Олэкса. Я... питаю слабость ко всему красивому. Но принять ваше предложение я не могу.

Он чуть побледнел.

— Вопрос: почему?

— Мне сперва надо окснчить институт. Потом... потом есть и другие личные обстоятельства.

— Значит, получаю чистую? — усмехнулся Упеник. Он с минуту ехал молча, стараясь сохранить небрежный вид. — Понимаем. Хотите поймать ответственного, чтобы всем вас снабжал? Некрасив, староват, да червонцами богат? Что ж, ладно. Как это поется в песне: «Мы найдем себе другую раскрасавицу-жену»...

Он резко осадил коня. Жеребец попятился, заплясал на месте, — и тогда черты Олэксы исказились, он хлестнул дончака по храпу, поднял на дыбы и бешеным наметом поскакал назад, к головному гурту. Ошметок подкопытной грязи взлетел и ударил Галю по спине.

За косогором показались голые вербы, труба ремонтных мастерских зерносовхоза. Буланный мерин Веревкина неторопко ступал по обочине. В придорожном кювете Осип Егорыч увидел одинокий поздний василек, а еще через несколько шагов — бледножелтый одуванчик. Оба цветка низко пригнулись к сырой, охладевшей земле, и листья и стебли их были значительно мельче и короче летних. Последние холода и одуванчик и василек, видимо, переносили, собравшись в комок, но стоило проглянуть неяркому ноябрьскому солнцу, и вот уже они, как ни в чем не бывало, развернули свои лепестки. Веревкина поразила жизнестойкость этих цветов. Так до самой вьюги они и будут отвоевывать себе каждый новый день, чтобы цвести и плодоносить. И что же после этого остается сказать тем людям, которые жалуются на трудности жизни: кому она дается легко? Зато ведь люди могут не только сопротивляться, но и побеждать.

Галя Озаренко подъехала к Веревкину и пустила свою кобылку рядом с его буланным. Глаза ее счастливо блестели, а посадка выглядела еще горделивей. Рука зоотехника стиснула уздечку так, что побелели суставы; он глухо проговорил:

— Глядя на вас, можно подумать, что вы сейчас... покорили чье-нибудь сердце.

И тут же подумал: до чего же он иногда плоско острит!

— Может, вы, Осип Егорыч, и угадали. Но, выражаясь вашим напыщенным слогом, я должна ответить, что «мы разошлись, как в море корабли».

Само собой случилось так, что и он, и Галя оглянулись назад: Олэкса Упеник приотстал и теперь ехал с головным гуртом. Он о чем-то весело и уверенно разговаривал с доярками, они смеялись.

— Почему ж, Галя, — спросил Веревкин, — вы не согласились, если Упеник вам... все-таки нравится?

Галя надменно пожала плечами:

— Мне и серьги могут нравиться. Но это же не значит, что я их обязательно должна носить? Примерить — это другое дело. А потом, кто вам это сказал, что Олэкса — это было серьезно? Просто дорожное увле-

чение. Надо же чем-то заняться. С ним скучно. Он только и знает: «Торговая сеточка», «Денежка любит уход, а девушка расход», «Все в порядке, деньги есть, вино в палатке». Все его разговоры — это кто где устроился, что и как сумел достать. Да притом он уверен, что и сам он — драгоценный «продукт»!

Она движением головы откинула назад волосы и вдруг расхохоталась так, что на глазах выступили слезы. Веревкин разжал руку, уздечка свободно обвисла.

Въезжали в зерносовхоз «Задонский».

По обеим сторонам широкой улицы потянулись деревянные дома под камышом, черепицей, железом. Из-за каменных огорож и плетней виднелись яблоневые, сливовые сады, с кое-где уцелевшими бурыми листьями. На круглой, словно пятак, площади выделялось двухэтажное здание средней школы, контора с вывеской и деревянным щитком для газет. Недалеке, за оттаявшим серо-голубым прудом, темнели круглые юрты — их херсонцы видели впервые. Каждый невольно подумал: так вот где мне придется жить и работать! Много задонцев во главе с начальством вышло встречать украинцев.

Когда колонна заполнила площадь и люди обоих совхозов стали знакомиться, Галя задала Веревкину вопрос, который в этот день остающиеся херсонцы задавали тем, кто уходил в армию:

— Будете писать?

— Вам? О чем?

— О чем хотите! Мне все будет приятно.

Веревкин вдруг повернулся к ней в седле; лицо его было красно, рот искривила напряженная улыбка.

— Все?

Галя вспыхнула, чуть опустила голову; золотистая прядь упала на выпуклый лоб, прикрыла бровь. Сказала, стараясь произнести как можно спокойней:

— Думаю, что все.

И стала глядеть в небо, точно не знала, куда девать глаза.

Солнце еще высоко стояло над голыми салами, но уже чувствовался конец дня. Высоко в холодной и глубокой синеве летела запоздавшая станица диких гусей. — спешила на юг. Гуси, как и всегда, летели углом. Их далекий призывный крик донесся до земли, и невольно

все херсонцы стали поднимать головы и смотреть в небо.

— Тоже эвакуируются, — сказал кто-то.

— На все время холодов.

— А верят, небось, что снова наступит тепло и они вернутся в Россию?

— Вот так и мы вернемся в свой совхоз.

Гуси улетали все дальше и дальше, давно уже не было слышно их крика. Вот и весь угол скрылся под длинным редким облаком, а люди все еще стояли и смотрели им вслед, и на всех лицах отражалась надежда.

Москва

Февраль 1946 г. — февраль 1947 г.

1 руб. 10 коп.

Огиз · Гослитиздат · 1949

82